

Жребий праведных грешниц. Наследники

Автор:

[Наталья Нестерова](#)

Жребий праведных грешниц. Наследники

Наталья Нестерова

Жребий праведных грешниц #4

«Жребий праведных грешниц. Наследники» – масштабное историческое повествование, но в то же время очень грустный и при этом невероятно жизнеутверждающий рассказ о людях, которые родились в чрезвычайно трудное время в нашей великой стране. Тончайшие нити человеческих судеб переплетаются, запутываются, рвутся, но в конечном итоге приобретают такую прочность, которую не смогло разорвать даже время.

Наталья Нестерова

Жребий праведных грешниц. Наследники

© Н. Нестерова, 2017

© ООО «Издательство АСТ», 2017

От автора

После завершения трилогии «Жребий праведных грешниц» у меня осталось чувство недосказанности. А у читателей, как показали отзывы, –

недочитанности. Эпилоги в конце романов возникли не случайно: писатель в них завязывает узлы сюжетных линий, ставит точку в судьбе героев или внятное многоточие. Попытка написать эпилог к последней книге – «Возвращение» – оказалась неудачной. Это было нечто похожее на телеграмму в сорок страниц. «Возвращение» так и вышло – оборванное на полуслове, на вздохе без выдоха.

Обычно, когда заканчиваешь книгу, есть ощущение, будто стоишь на берегу и машешь отплывающему кораблю, прощаешься. Не знаешь, расставаясь, потонет он или будет долго и счастливо плавать. Герои «Жребия» уплыть не хотели, освободить в моем мозгу место для новых персонажей в новых книгах не желали. И разумные доводы: если о каждом из вас повествовать подробно, ведь вы по ходу дела еще детей нарожаете, то это выльется в десятки романов, мне жизни не хватит их написать, – принимать во внимание не спешили. Мол, в каждой профессии есть свои сложности.

Выход, уж не знаю, насколько удачный, я нашла в написании сборника рассказов. Один герой – один «эпилог». Рассказ – самый требовательный по форме жанр. Он отвергает нестройность фабулы, длинные отступления, растекание мыслей по древу. Рассказы я писать люблю, но в этой книге они, с точки зрения чистоты жанра, неправильные. Как бы продиктованные теми самыми героями, засевшими в моей голове, – потомками и наследниками Анфисы Ивановны и Еремея Николаевича Медведевых. Каждый из героев почему-то хотел, чтобы я рассказала его жизнь в целом, но при этом остановилась на каком-то эпизоде подробно. Эти эпизоды подчас никакой великой роли в их судьбе не сыграли. Но ведь и нам из пережитого западают в память сущие безделицы. А наши воспоминания о людях – своего рода «сборник эпилогов».

В последовательности рассказов отсутствует хронологическая четкость. Тому или иному персонажу в одном рассказе, например, десять лет, в следующем двадцать, а затем три годика. И на вопрос: «Сколько же ему (ей) тогда было?» – есть только один ответ: «Сколько на момент, о котором идет речь».

Я прощаюсь со своими героями. Теперь они – ваши.

Придет, придет и наше время,

И наши внуки в добрый час

Из мира вытеснят и нас!

Клара и Нюраня

Список Клариных претензий к матери был бесконечным. Как гудящие электрические провода – высоко на столбах, не оборвать, от одной опоры до другой, без начала, без конца – бесконечно. Но заявление матери на суде: «Да, мой муж Емельян Афанасьевич Пирогов был предателем и пособником фашистов» – не могло сравниться со старыми мелкими обидами. Можно иметь сотню несимпатичных родинок на теле или одно лиловое родимое пятно на все лицо. Родинок не видно под одеждой, а пятно не спрячешь. И все на него пялятся, тыкают пальцем, брезгливо кривятся, отводят глаза, шепчутся за спиной.

Для тринадцатилетней Клары в 1949 году страшней всего было прослыть дочерью предателя, стать изгоем в кругу приятелей и одноклассников. Клара привычно, без тени стыда взвалила вину на мать. Это все она! Сама выкрутилась, а мужа подставила. Она в подполье была? Как же! Видела я то подполье! Люди при немцах с голоду пухли, а мать мешками продукты сбывала. Кларе было прекрасно известно, что продукты уходили голодающим, но Клара рано научилась называть вещи теми именами, которые ей требовались.

Емельян Пирогов, отец Клары, удрал с отступающими немцами в начале февраля 1943 года, где-то от них отбилсь, раздобыл чужие документы на имя комиссованного по ранению сержанта и уехал на край земли – во Владивосток. Емельян, страшно боявшийся боли, пошел даже на то, что подкупил пьяницу-фельдшера, и тот слегка порезал и зашил ему живот – якобы шрамы после ранения. Профессиональный взгляд, конечно, легко разоблачил бы эту маскировку, но Емельян по врачам ходить не собирался. Он устроился завхозом на рыболовецкое предприятие, женился. Через четыре года после Войны его случайно опознал курянин, приехавший на Дальний Восток на заработки. Емельяна арестовали и этапировали в Курск, где состоялся суд.

Память об оккупации была свежа, боль не утихла, жажда отмщения не угасла. Когда нельзя простить, можно только ненавидеть, с ненавистью невозможно расстаться, даже если мстить уже некому. Повешенные и расстрелянные пособники фашистов заслуживали только одной памяти: собаке собачья смерть.

Понадобились десятки лет, смены поколений и государственного режима, чтобы в литературе, кинематографе возникла тема психологии предательства. Коллаборационисты поневоле, женщины, жившие с оккупантами, солдаты и офицеры, побывавшие в плену, воевавшие в штрафбатах бойцы превратились в объекты художественного осмысления. После войны ничего подобного не было ни в умах людей, ни в искусстве. Героев настоящих не чествовали и не возвеличивали. Героям предстояло страну поднимать из руин. Что уж говорить о предателях – о холуях, которые жировали на объедках с барского вражеского стола.

Психология Емельяна Пирогова не заинтересовала бы писателей: она была проста и примитивна как чих. У сложных рефлексирующих натур – вздох, долгий, тяжелый, мучительный. У плебеев – чих. Главной жизненной установкой Емельяна было прибиться к власти, к любой власти. Белогвардейцы, большевики, фашисты – ему нет разницы. Прибившись к власть имущим – стяжать, подворовывать, тащить в дом нужное и ненужное, продукты и барахло – все, что можно захватить. Он пьянел без вина, оглядывая свое богатство: буфеты, забитые посудой, шкафы с хорошей одеждой, полки в кладовке и в погребе, прогнувшиеся от тяжести портящегося съестного.

Его жена Анна, Нюраня, была пренебрежительно равнодушна к семейному достатку. Она не останавливала Емельяна в его крысином накопительстве, как не бьют по рукам ребенка, который тащит в дом всякую ерунду для своей заветной детской коллекции. Емельяна обижало отсутствие у жены восхищения коврами, бархатными шторами с бубенчиками, патефонами, швейными машинками и кузнецовским фарфором. Но Емельян обиду проглатывал, потому что жена тоже была ценным приобретением. Красавица, врач акушер-гинеколог – это вам не простая деревенская баба, выбившаяся в люди, но так и оставшаяся тупоголовой.

В немецкую оккупацию Емельян, прибившийся к немцам, занимавший какой-то пост в комендатуре, а по сути рыскавший в поисках ценностей (большая часть – новым хозяевам, немного – себе), держал Нюраню на коротком поводке. Потому что она притащила жидовку с ребенком. На улице нашла рожающую, приняла

младенца и приволокла их в дом. Емельян, конечно же, избавился бы от опасных квартирантов, но ненаглядная доченька Кларочка прикипела к Ревеке, спешно переименованной в Раю. Жидовка учила Кларочку игре на фортепиано, прежде используемом как подставка для горшков с цветами, азбуке, рисованию – словом, такую гувернантку еще поищи. А главное, с уст обожаемой дочери не сходило: Рая то, Рая се, мы с Раей... Дочь была для Емельяна маленьким божеством. Ее веление – законом. Этот закон позволял еще и своенравной гордячке Нюране показывать, кто в доме хозяин. Но Емельян не простофиля! Он себя обезопасил: написал заявление немецкому оккупационному командованию. Мол, придя домой, обнаружил, что его жена укрывает незарегистрированную еврейку с ребенком. Вдруг внезапная облава: вот вам заявление! Собирался завтра отдать.

Когда пришли наши, Емельян сгинул, не попрощавшись даже с любимой доченькой. Нюраня раздавала вещи и обнаружила заявление-донос, спрятанное в голенище хромового сапога. Почему-то не порвала, не выбросила. В отличие от дочери, которая постоянно ныла: «где мой папочка, когда придет папочка», Нюраня испытывала громадное облегчение. Точно у нее вырвали из горла кость, которая много времени не давала ни дышать, ни глотать свободно.

Во время суда, пока ее не вызвали, Нюраня то и дело поворачивала голову, смотрела на мужа. Жалкий, несчастный, с бритой головой и со щетиной на дряблых щеках. Трясущийся, похожий на перенесшего тиф или хронически больного злостной малярией. Это ее муж и отец единственного ребенка.

В который раз Нюраня спросила себя: «Стоило?»

Стоило выходить замуж за Емельяна? Вырваться из глуши, из провинциальной больнички в Курской области, где по сорок больных в день, и она, деревенская девушка, без документов, дочь раскулаченных в далекой Сибири, нахватавшаяся отрывочных знаний, ведет прием, потому что фельдшер-акушер Ольга Ивановна рухнула в полном изнеможении. Не столько понимая диагноз, сколько прислушиваясь к интуиции и поддерживая значимость лица, Нюраня со строгим видом вручала порошки (подкрашенный мел, вчера толкла, других лекарств нет) и велела принимать утром, в обед и вечером. А не так, как делают курские дураки! Взял и заглотал разом – чтоб скорей помогло. Важен процесс! Процесс лечения. И ведь помогало! У нее было прозвище Сибирячка, и шла молва: если Сибирячка «даст процесс», то точно поможет. А если про «процесс» не

заикнется, то пиши пропало.

Бесконечной веренице больных было невдомек, как ей противно обманывать невежественных людей, как ей хочется учиться и стать настоящим врачом.

Она стала врачом благодаря Емельяну. Он согласился на сделку: она выходит за него замуж, он помогает ей документы выправить и поступить в медицинский институт.

И ведь был их радостный и счастливый полет-бег на тройке по сельским дорогам меж полей, вспухших зелеными, когда Емельян увозил ее из больнички. И Нюране казалось, что она любит Емельяна или обязательно полюбит, постарается.

Выйти замуж за нелюбимого, незнакомого, сосватанного – обычно в крестьянской среде. На то и семейная жизнь, чтобы притереться. За любимого выйти – редкая удача. Родителям надо девушку с выгодой пристроить, или сиротке самой за кого попало выйти. Потому что одинокая девушка хозяйства не осилит, ей только в батрачки наниматься или в приживалки идти.

Нюраня выходила замуж за Емельяна по обычаю, и сделка состоялась. Емельян слово сдержал. Но ведь и она не нарушила: была верной женой. Хоть и не смогла его полюбить, лаской согреть.

У крестьян тяжелый труд от зари до зари, не до сантиментов, хоть бы выспаться. В городе у советской интеллигенции иначе. Тоже труд, но не физический, изматывающий не тело, а сознание – нечто воздушное, от земли оторванное. Там, где хорошо не запахали, лезет сорняк. Там, где нет любви, лезет раздражение и отвращение. В довоенное время Нюраня пряталась за работу. В оккупацию, когда ее сначала не взяли в единственную оставшуюся больницу для местных, потому что муж при гитлеровцах, когда ей каждый день было страшно за Раю и младенца Мишу, – стало невмоготу. Кость в горле – не вздохнуть и не проглотить. Ничего, выдержала, на спицах как сумасшедшая вязала.

И отгоняла от себя вопрос, невыносимый для крестьянской безродной девушки: «Стоило?» Стоило загубить свою женскую судьбу ради профессии? Лечь под это ничтожество?

Нет ответа.

На судебном заседании Нюраню вызвали дважды. Первый раз обвинитель, прокурор. Она рассказала про музейные экспонаты и прочие вещи, которыми Емельян забивал чердак и сараи. Картины она давно вернула в галерею, а вещи раздала нуждающимся.

Второй раз ее вызвал защитник Емельяна. Молоденький адвокат не скрывал, как глубоко противен ему подзащитный. Но формальности должны быть соблюдены – обвиняемому полагается защитник. Адвокат выглядел так, что дай ему волю, своими руками задушил бы Емельяна, фашистского холуя. Профессиональная честь заставила признать наличие смягчающих обстоятельств: во время оккупации в доме Емельяна Пирогова пряталась еврейская женщина с ребенком.

Нюраня кратко подтвердила:

– Это правда.

Что-то в ее лице насторожило прокурора, и он спросил:

– Как вы объясните, что подсудимый, чей гнилой морально-нравственный облик не вызывает сомнений, подвергал себя и свою семью большому риску?

Она повернула голову и посмотрела на мужа. Емельян подался вперед со щенячьим страхом, с последней надеждой, не мог укротить дрожь. В кармане жакета у Нюрани лежал его донос гитлеровцам, найденный в сапоге. Нюраня могла достать бумагу и представить суду. Она собиралась так поступить, а сейчас медлила.

– Затрудняюсь объяснить, – сказала Нюраня после паузы.

Ее ответ прозвучал как «не знаю». Но на самом деле ей вдруг стало противно добивать Емельяна, как топтать полудохлую змею. И еще противнее было раскрывать перед членами суда и присутствующими свои семейные обстоятельства.

Нюране, как и остальным свидетелям, не были известны факты личного участия Емельяна в карательных операциях и массовых казнях. Но это его, чекиста, перешедшего на сторону врага, мародёра и фашистского лизоблюда, не спасло от расстрела.

– Мне стыдно на улицу выйти! – кричала в лицо матери Клара. – Ты клеймо на меня поставила! Ты меня опозорила!

– Именно я? – спрашивала Нюраня, глядя на дочь с усталой обреченностью. – Не отец, который нарушил присягу, предал Родину, который языком слизывал грязь с сапог фашистов?

– Папа был хороший! – топнула ногой Клара. – Я его обожала! Папа меня любил...

Она не продолжила, но смысл был понятен: папа любил, а мама не любит. Нюраню это невысказанное должно было ранить, обидеть, но вызвало лишь досаду – главное ее чувство по отношению к дочери. Досада меняла градус – больше, меньше – но никогда не исчезала.

– Если он был такой хороший, – усмехнулась Нюраня, – любил тебя, а ты его обожала, что ж не навестила его в тюрьме, не простилась? Стыдно было? Замараться не хотела?

– Я тебя ненавижу! – выкрикнула Клара и выскочила из комнаты.

При разговоре присутствовала Таня Миленькая. Она же Ревека-Рая. Стараниями Нюрани во время оккупации Ревека получила новое русское имя, документы и от умершей настоящей Тани Миленькой младенца Иннокентия, которого выкормила своим молоком и не отделяла от родного сына Миши. Таня была готова вмешаться в любой момент: стать на линию огня, призвать мать и дочь успокоиться. Так она часто делала при их ссорах. Сегодня не успела.

– Анна Еремеевна, не расстраивайтесь! У Клары переходный возраст, сложный период.

– Он у нее начался с первого вздоха. Если бы я не знала точно, что сама ее родила, то думала бы, что эту девочку мне подсунули. Когда-нибудь хирурги научатся пересаживать печень, почки, сердце. Если бы они умели делать это сейчас и Кларе понадобилась трансплантация, я бы отдала ей любой орган, всю кровь по капле – жизнь отдала, ни секунды не сожалея. Но...

«Но любить я ее не могу», – мысленно договорила Таня. Ей было непонятно, как можно не любить собственного ребенка. Сестру, брата, свекровь, начальника, даже мужа – бывает, случается. Но материнство – это как дыхание. Мы дышим независимо от нашей воли, мы не замечаем дыхания, а если перестанем дышать – умрем. С другой стороны, заставить любить или не любить невозможно, а терзаться отсутствием любви – очень реально.

Роль матери Клары, а также наперсницы и гувернантки, выполнявшей школьные домашние задания, парламентария-примирителя в ссорах досталась Тане. Она с сыновьями переехала к Пироговым, когда за год до Победы умерла от тяжелой пневмонии мать настоящей Тани Миленькой.

– Анне Еремеевне тоже трудно, – увещевала Таня девочку, – на нее косятся коллеги, которые не знают, что твоя мама во время оккупации была в подполье. А пациентки отказываются подпускать к себе, потому что она жена предателя и, мол, может вредительствовать. Представь, каково врачу переживать подобное!

– Ничего с ней не станется, – отмахивалась Клара, для которой личные обиды сравнения не имели с бедами кого-то другого. – Она же сибирячка.

Последнее слово Клара произнесла с таким же презрением, с каким сказала бы: бездушная каменная баба.

– Кларочка удивительно энергична, – говорила Таня Нюране, – ей нужно постоянно находиться в движении. Такое впечатление, что даже во сне она продолжает бег и действие.

– Как акула.

– Что? – не поняла Таня.

– Акула, хищник морской, находится в постоянном движении, с приоткрытым зубастым ртом, который и во время сна захватывает добычу.

– Согласитесь, что в Кларе живет смелый дух авантюризма...

– Таких авантюристов полные тюрьмы, – снова перебила Нюраня. – У этих отбросов общества страсть к приключениям вытеснила элементарную мораль: нельзя причинять людям боль, грабить, отбирать честно нажитое. По сути, это дикие нецивилизованные люди. Потому что культура и цивилизация – это не когда многое позволено, а когда многое недопустимо.

То, что Клара ворует, обнаружилось случайно. Она тырила мелочь из карманов в школьном гардеробе, могла стащить у одноклассников ластик, линейку, открытку и прочие приглянувшиеся ей мелочи. Таня проводила с ней нравоучительные беседы: брать чужое нехорошо, стыдно и отвратительно. Клара делала вид, что внемлет, но в паузе спросила: «Дашь мне поносить свою гипюровую блузку? Только укоротить ее надо».

Нюраня, узнав о кражах, рассвирепела, схватилась за ремень.

– Не ударишь! – смело выступила Клара. – Права не имеешь.

Клара плохо училась, книг читать не любила, но обладала звериным чутьем на тайные боли-недостатки людей. Поэтому верховодила в любой компании. Мать – каменная баба, сибирячка – терзается, что ей, дочери, чего-то недодала, недовоспитывала, недолюбливает. Когда знаешь чужое «недо...», твое право главней.

У Нюрани опустились руки. Хотя она понимала: эта девочка боится только боли и остановить ее может только страх. Доставить дочери боль Нюраня действительно не имела права, оставался страх.

– Не стану тебя бить, – сказала мать, – но еще раз своруешь, я тебя убью. Говорю серьезно, ты меня знаешь. Убью и сяду в тюрьму. Это будет мой материнский подвиг – не ты за решеткой, а я. Все поняла?

Другую девочку, пойманную на воровстве, одноклассники подвергли бы бойкоту, устроили темную и навечно записали бы в изгои. Но проныра Клара обернула ситуацию в свою пользу. У нее было несколько золотых украшений, подаренных еще отцом. Клара продала цепочку с кулончиком и сережки с рубинами. Накупила конфет, шоколада, ручек, карандашей, атласных лент и губной помады для девчонок, значков, складных ножичков – для мальчишек. Пришла в класс и щедро одарила всех, у кого стащила вещи гораздо менее ценные. Мол, это была такая смешная игра, получите приз, распишитесь. Те, кого в свое время обошла ее грабительская рука, остались разочарованы, не «поиграв», не получив призов. Авторитет Клары был восстановлен и даже упрочился.

Она не была красива, и назвать ее симпатичной можно было с большим преувеличением. В отца пошла: блиноподобное лицо, маленькие, широко расставленные глазки, короткие реснички, едва заметные брови Клара подводила с пятого класса, нос утонул в щеках, под ним губы куриной гузкой. Фигурой она тоже не в статную мать, а в шкафообразного Емельяна. Плечи такой же ширины, что и бедра, между ними отсутствует намек на талию, ноги короткие и с заметной кривизной от колен. Но Клара легко оттирала первых школьных красавиц и пользовалась популярностью, которая тем и не снилась. Клара была щедрая, веселая, активная, заводная, с ней было не скучно, с ней всегда праздник – смех, музыка, танцы, проделки, авантюры и приключения. Недостатки внешности отходили на задний план, не замечались. А вот придумать некую проказу, которая восхитит Клару, или рассмешить ее до икоты – это мощно! Друзья тянулись к Кларе, попасть в ее компанию – как выиграть в соревнованиях на «своего парня» или «классную девчонку».

Кларе было все нипочем, для нее не существовало преград, сомнений или запретов. Девчонки шушукаются про «то отвратительно ужасное, что у мальчиков между ног». Элементарно, никаких проблем.

Таня пришла домой и обнаружила сцену: ее пятилетние сыновья Мишенька и Кешенька стоят на столе со спущенными штанишками, перед ними несколько девочек, Клара дает пояснение: «Под писюном яйца. Мишка, подними писюн...»

– Что здесь происходит? – ахнула Таня.

Подружки Клары от страха присели и были готовы юркнуть под стол. Сама Клара нисколько не смутилась:

– Мы изучаем анатомию.

– Я замерз от атомии, – пожаловался Кеша.

– Ты обещала кафетки, – потребовал от Клары Миша. – Давай!

Учебу Клара ненавидела. Единственное место, где она чувствовала себя неуютно, где теряла свой лидерский задор и выглядела дура дурой, была школьная доска, отвечая у которой приходилось экать, мекать, ловить подсказки или писать мелом на доске примеры, решить которые она не смогла бы и под угрозой расстрела. Но к седьмому классу Клара освоила иезуитские приемчики издевательства над учителями.

Например, она переспрашивала:

– Страны Африки?

– Да.

– Мария Сергеевна, вы нам точно Африку, а не Азию задавали?

– Точно. Но если ты готова перечислить азиатские страны, пожалуйста!

– Нет, Африка так Африка. Черный континент. Мария Сергеевна, а ведь это как-то нехорошо по цвету кожи людей называть континент черным? Прям-таки расизм.

Класс наслаждался представлением, веселился, гудел как улей от сдерживаемого смеха.

– Пирогова! Или ты отвечаешь урок, или садись – два!

– Почему сразу «два»? Я и слова сказать не успела! Вы меня запутали! Мне про Африку или про Азию?

Класс уже хохотал в голос.

На уроках математики у Клары мел не писал, а только царапал по доске, она не виновата, что брак в школу привозят. В примерах она специально делала ошибки.

– Пирогова! Я сказала: «два икс»!

– А я что?

– А ты написала «три икс», исправь.

– Где?

Представление начиналось...

Кларе стали подражать другие двоечники и троечники, уроки превращались в веселый цирк. Учителя сочли за благо не вызывать Пирогову к доске вообще. Не потому, что не могли справиться с этой своенравной девочкой, а потому, что время, потраченное на укрощение строптивой, воровалось у тех, кого можно и нужно было научить по программе. Клара добилась того, чего хотела – к доске ее не вызывали, домашние задания за нее делала Таня, или Клара на перемене списывала у подружек, они в очередь выстраивались, как и мальчишки, которые на контрольных и самостоятельных работах строчили ей шпаргалки. Учителя закрывали на это глаза, но за диктанты по русскому языку (подружек не привлечешь) Клара получала исключительно колы и двойки.

Она хотела бросить школу после восьмого класса, но мать сказала:

– Через мой труп! Среднее образование ты получишь, даже если придется заковать тебя в цепи!

Тогда Клара решила бежать из дома.

Таня обнаружила тайник, в который Клара прятала вещи и продукты, по обрывкам разговоров поняла, что Клара сколачивает команду. Таня поделилась своими подозрениями с Нюраней.

Мать за руку привела Клару к себе в больницу, показала пятнадцатилетнюю девочку, беглянку. Лицо девочки было покрыто вздувшимися фиолетовыми синяками, порванные и зашитые губы заклеены пластырем.

– Могу отвести ее в смотровую и продемонстрировать тебе, как выглядят наружные половые органы после коллективного изнасилования, – сказала мать.

Клара в испуге помотала головой и попятилась из палаты.

После окончания школы Клара уехала к тете Марфе в Ленинград. Она там была один раз на каникулах, с матерью, которая за много лет впервые взяла отпуск. Ленинград произвел огромное впечатление. Жить в занюханном Курске, когда есть Невский проспект? Тетя Марфа – прелесть. Такая же великанша, как мать, но такая же добрая, как Таня. А квартира у них! А дача! Надо идиоткой быть, чтобы не воспользоваться.

Марфа приняла Клару на жительство с сердечной готовностью. Впрочем, Марфа ко всем потомкам Турок-Медведевых относилась ласково, точно в благодарность за сам факт их существования.

Камышин, муж Марфы, говорил:

– Эта похожая на спичечный коробок девица нам еще наискрит.

Но говорил он без хмурой раздражительности, а с интересом, который вызывает забавный персонаж. Цитировал писателя Платонова, сказавшего, что в каждом поколении есть семь процентов людей, которым что в скит, что в революцию. Применительно к Кларе – ей в коммерцию. Родилась бы до революции, сколотила бы состояние благодаря умению пускать пыль в глаза и врать на чистом глазу.

Этот вывод он сделал, однажды похвалив девушку:

- У тебя шов на чулках никогда не перекручен, всегда идеально ровный.

- Потому что нарисованный.

- То есть?

Капроновые чулки со швом были страшным дефицитом: чтобы их имитировать, Клара черным карандашом рисовала на коже длинную черную стрелку. Что и продемонстрировала Александру Павловичу, задрав юбку.

В квартире Камышиных постоянно кто-то гостил, не успели уехать одни, нахлопнулись другие. Однако Александр Павлович имел отдельную комнату, называемую кабинетом и служившую им с женой спальней. Когда Александр Павлович, уставший после работы, отужинавший или в выходной день утомившийся от гомона, уходил в кабинет, тетя Марфа объявляла режим «возможной тишины». Муж был для нее абсолютным кумиром, каждое веление которого было законом, каждое желание, даже не высказанное, исполнялось со счастливой готовностью.

И при этом тетя Марфа не лебезила перед мужем, не заискивала, могла покритиковать, настоять на своем. Но то, что касалось быта Александра Павловича, было свято. Клара никогда не жила в нормальной семье, не видела отношений супругов, в которых роли расписаны и исполняются с видимым удовольствием и удовлетворением.

Клара мотала на ус, откладывая в память то, что казалось ей полезным, отмечая то, что представлялось глупостью, баловством мужика. Клара приехала в город на Неве за женихом. Не в институт же ей поступать! Школы хватило.

Клара устроилась продавщицей в гастроном, после первой зарплаты пришла домой, обвешанная кульками - с гостинцами. В Кларе напрочь отсутствовала жадность и, увы, никуда не делась вороватость: она приносила с работы в кармане или за пазухой то кусок колбасы, то сыра, то халвы.

- Тебя поймают и посадят! - пугалась Марфа.

– Не посадят, – отмахивалась Клара, – все так делают, а заведующая ящиками сливочное масло домой увозит.

– Ведь нам не нужно, – продолжала уговаривать Марфа, – у нас всего хватает.

– Не могу удержаться, – честно отвечала Клара.

Марфа сомневалась в словах мужа, сказавшего, что из племянницы в иных условиях получилась бы успешная коммерсантка. Клара не умела копить деньги, в кармане у нее всегда было пусто, она постоянно стреляла «до зарплаты» у сослуживиц и подруг. Для Марфы денежный долг был равносителен камню на шее, а Клара легко забывала о долгах. Когда о них настойчиво напоминали и когда их накапливалось столько, что зарплатой не покрыть, шла на поклон к тете Марфе.

– Сколько-сколько ты должна? – таращила глаза Марфа. – Триста рублей? Это же большие деньги! У тебя аванс двести, получка двести пятьдесят. На что потратила? Как ты умудрилась?

– Как-то незаметно.

Марфа давала деньги племяннице на покрытие долгов и уговаривала больше не занимать. Клара легко соглашалась.

– Хотите, я вам из магазина ящик кильки в томатном соусе притащу? – предлагала Клара. – Или печени трески? Я с грузчиками вась-вась.

– Упаси Господи! – пугалась Марфа. – Клара, деточка, надо жить честно!

– Ага, я знаю.

Достойного жениха Клара искала по военным училищам, благо их в Ленинграде было предостаточно и там устраивали танцы. Претендентов имелось хоть отбавляй, Клара перебирала их, пока не познакомилась с Виталиком – курсантом артиллерийско-технического училища зенитной артиллерии. Сокращенно название училища звучало как заграничный экзотический курорт – ЛАТУЗА.

Выбору Клары Камышиной подивились, но Виталик им понравился с первой встречи. Длинный худой парень, деликатный, застенчивый, воспитанный – настоящий петербуржец. Мать Виталика умерла в Блокаду, отец погиб на фронте. Друзья родителей устроили мальчика в Суворовское училище, после которого путь лежал только в военное училище. Хотя более штатского человека нельзя было представить. Как этот парень с тихим голосом, с добрыми глазами и смущенной улыбкой станет отдавать приказы, распекать солдат, по-командирски метать громы и молнии? Виталик часто улыбался, и самой заметной деталью его лица были крупные длинные зубы. Про такие в Сибири говорили: щуку съели, а зубы остались. Но хищного впечатления они не производили, скорее, наводили на мысль о милом хрупком бельчонке.

Марфа и Александр Павлович удивились выбору Клары, потому что им представлялось, что она ухватится за какого-нибудь ушлого богатыря, видного рубаху-парня – чтобы можно было им хвастаться, под узду водить, как коня-чемпиона, и ловить восхищенные, завистливые взгляды. Но Клара влюбилась в Виталика, причем влюбилась по-настоящему, как заболела. Она жила от свидания до свидания, говорила только про Виталика, прожужжала всем уши. За завтраком пересказывала сны – снился ей якобы исключительно Виталик. Скорее всего, эти сны она придумывала, чтобы иметь повод еще и еще раз повести речь о своем избраннике.

– Он-то тебя любит? – спрашивала Марфа.

– Естественно! – удивлялась вопросу Клара.

Марфе так не казалось. Виталик смотрел на Клару не с обожанием, а с деликатным смущением, он явно не устоял, не выдержал напора Клары, которая и в обычном состоянии была таран, а влюбленная – просто смерч.

Но меркантильные планы Клары никуда не делись. Она собиралась в будущем стать ни много ни мало – генеральшей.

Загибала пальцы:

– После училища лейтенант – два года, старший лейтенант – три года, военная академия, капитан – четыре года, майор – четыре года, подполковник, полковник – всего пять лет, далее – генерал... Мне сейчас восемнадцать, в сорок

один я стану генеральшей. Как долго еще ждать!

Нетерпение Клары поскорее заключить брак с Виталиком даже смело ее мечту о пышной свадьбе, расписались они тихо и буднично. На летние каникулы Клара повезла мужа в Курск.

- Понравился тебе Виталик? – спрашивала Марфа по телефону Нюраню.

- Да, милый парень. Признаться, я удивлена, но и рада тому, что дочь отхватила интеллигентного мальчика. Если бы она вышла за такого же прощельгу, как она сама, то от этой семейки пришлось бы держаться подальше. А сейчас есть вероятность, что Виталик, имея отвращение ко всякого рода прохиндейству, сумеет удержать будущую генеральшу в рамках приличия.

«Удержать ее не сумеет и черт», – подумала Марфа, но вслух сказала:

- Дай-то Господи!

В 1955 году Клара родила дочь Татьяну. Роды были очень тяжелыми, и виновата в этом была, конечно, мать Клары. Она десять раз предлагала дочери: приезжай рожать в Курск, я не могу вырваться в Ленинград, очень много работы, но даже если приеду, никто меня не допустит командовать в чужом роддоме. Для кого-то и нет разницы, что записано в свидетельстве о рождении ребенка, Курск или Ленинград. Для Клары – очень большая разница.

Во время схваток она орала: «Мама! Мамочка!» Через день после родов соседкам по палате рассказывала, что мать могла бы сделать так, чтобы без всяких болей, и ребенок выскочил бы как намащенный. Но мать не захотела приехать.

Три месяца Клара кормила ребенка грудью и страшно тосковала без мужа. Виталик окончил училище, получил назначение в Карелию и уехал.

Терпение Клары лопнуло. Она перевязала грудь, оформила получение питания ребенку на детской молочной кухне и огорошила Марфу:

– Тетечка Марфочка, любименькая! Я сметаюсь быстренько к Виталику? Туда и обратно, ладно?

– Почему с ребенком-то не хочешь ехать?

– Там нет условий. Общежитие, со всех щелей дует, туалет на улице. Пожалуйста!

– Поезжай, конечно.

Так Танюшка и осталась у Марфы. У Клары вечно были «обстоятельства»: нехватка в магазине и угроза тюрьмы, переезд на новую квартиру или перевод в другую воинскую часть. Наступало лето, и девочке лучше было провести его на даче. Как и все дети, Татьянка болела, и не срывать же ее с места после ветрянки или во время простуды! Она пошла в школу, и в середине учебного года переводить в другую школу неразумно, да и образование в Ленинграде значительно лучше, чем в провинции.

Кларины «обстоятельства» прекрасно совпадали с желаниями Марфы, которая всегда мечтала о дочери и в пятьдесят восемь лет была крепка здоровьем. С Камышиными почти одиннадцать лет жила младшая дочь Параси и Степана Медведевых Аннушка, которую Марфа привезла из эвакуации шестилетней. На момент рождения Татьянки Аннушка уже полгода отсутствовала. Аннушка была сложным ребенком, горячо любимым и очень закрытым.

Татьянка – совсем иная статья. В Сибири бабушки, которым приходилось «водиться», то есть ро?стить внуков с пеленок, говорили: «Сама только шож не родила». Татьянка была подарком судьбы Марфе. Что судьба расщедрится еще на два подобных подарка, Марфа, конечно, не подозревала.

Виталий, в отличие от жены, стыдился, что дочь воспитывается на стороне, и несколько раз требовал от Клары, чтобы дочь жила с ними. Татьянку увозили, но через несколько месяцев возвращали. Клара повторила свою мать в неумении и нежелании воспитывать ребенка. Но если Нюраня была никудашной молчаливой матерью, то Клара – говорливой и крикливой. Она шпыняла дочь на каждом шагу, Татьянка раздражала ее фактом своего присутствия. Видя все это, Виталий сдавался: Татьянка возвращалась в Ленинград.

Нюраня, плохая мать, неожиданно стала прекрасной бабушкой. Она теперь не отказывалась от отпусков и на курсы повышения квалификации стремилась попасть в Ленинград. Писала письма внучке крупными печатными буквами, присылала посылки, часто звонила по телефону. Нюраня говорила, что пять минут детского щебета внучки дает ей заряд хорошего настроения на неделю. Нюраня пылко полюбила внучку, когда Татьяна была еще совсем крохотной, и предположить было нельзя, что девочка, перемахнув через материнскую кровь, внешне окажется очень похожей на бабушку.

Марфа, которая нежданно и практически насильно обрела женское счастье: заботу, нежность, трепетное покровительство и пылкую привязанность Камышина, переживала из-за неустроенной судьбы Нюрани.

– Тебе лет-то! Сорок семь, – убеждала она Нюраню, – как мне было, когда за Александра Павловича вышла. Я уж на себе крест давно поставила, старухой себя считала, а как обернулось-то! Благостью моей большой душевной. Нюраня, замуж тебе надо!

– Нет, спасибо! Замужем я уже была.

– Первый раз не считается! Думаешь, мне за Петром сладко было? Он мне такую... как называется, чтоб болезнь не подхватить?

– Прививка.

– Вот! С головы до ног я была одна сплошная прививка. Нюраня, ты ж видная женщина, красивая, умная, с положением, неужто на тебя не заглядываются?

– Заглядываются. Но мужиков моего поколения в войну сильно выкосило. Оставшиеся порядочные давно пристроены, непорядочные мне даром не нужны. Выполнять сомнительную роль любовницы или разбивать семью – извините, не по мне!

– Но есть же вдовцы, – стояла на своем Марфа. – Давай я поговорю с Александром Павловичем? Вдруг у него на заводе есть подходящий вдовец.

– Давай, – соглашалась Нюраня. – Пусть только Александр Павлович принесет мне Листок по учету кадров.

– Какой-какой листок?

– Такая бумага, которую заполняют при поступлении на работу. Фамилия, имя, отчество, когда, где родился, проживал ли на оккупированных территориях и так далее. К Листку прикладываются фотография и автобиография, написанная в произвольной форме. Завтра я схожу сфотографируюсь и напишу автобиографию. С пакетом документов Александру Павловичу ведь будет проще искать мне жениха?

– Ты шутишь! – доходило до Марфы.

– Конечно, шучу. Марфа, у меня все в порядке! У меня есть семья: Таня, Миша, Кеша, и я замужем за работой.

– Максимку Майданцева забыть не можешь? – предположила Марфа.

– И не стараюсь. Но уже очень давно тоска и печаль меня не гложут. Светлое воспоминание – и только. Недостижимое счастье. Летчиков много, а Юрий Гагарин один.

– Ты в Гагарина влюблена?

– Марфа, издеваешься?

– Шучу, не одной тебе насмеяться. Нюраня, после первого космонавта ведь и другие полетят!

– И на Марсе будут яблони цвести. Хватит меня сватать. Старого пса к цепи не приучишь. Ты мне про другое скажи. Вот прожили здесь три дня Клара и Виталий. Сколько же от моей дочери шума, гама, бестолковщины! У меня голова болела, пока они не укатили в крымский санаторий. А зятю Кларино мельтешение – хоть бы хны.

– Привык.

- Сомневаюсь, что можно привыкнуть к жизни на пороховой бочке. Тут что-то другое. Я вспомнила своего папу. Как уж его мама клеймила за нелюбовь к крестьянскому труду!

- А с него что с гуся вода, сидит досточки вырезает.

- Верно. Мама очень любила отца, это было заметно, Клара обожает мужа. Почему?

- Разве можно ответить, почему людей друг к дружке тянет?

- Папу не больно-то к маме тянуло, да и у Виталика я что-то не заметила пылкой страсти. Нельзя про любовь ответить «почему?» до свадьбы, в первые годы замужества. Потом наступает отрезвление, и подобные вопросы становятся уместными. Знаешь, что я думаю? Они не могли их съесть!

- Кто кого? - не поняла Марфа.

- Мама - папу, Клара - Виталия. Жуют, жуют, а проглотить не получается, выплюнуть обидно. Папу нельзя было съесть, потому что он был художник, творец, и все его мысли, чаяния были сосредоточены на его произведениях. Согласна? Но у Виталика-то какой секрет? Может, он марки собирает, или бабочек коллекционировать мечтает, или чеканкой увлекается, стихи пишет, рыбачит? Он ведь вполне образованный, нормальный, не тупой.

- Не тупой, - согласилась Марфа и надолго задумалась.

- Слушай, а может, он гуляет, по-тихому с любовницами встречается? - предположила Нюраня.

- Не, Клара бы пронюхала, от такой не погуляешь, да и в военном городке все на виду. Он добрый.

- Ну и что?

- Такой добрый, что позволяет себя жевать, проглотить его не получится, потому что доброта его очень твердая, но не каменная... мячики такие у детей бывают - из тугой-тугой резины, ее даже нож не берет.

- Расфилософствовались мы с тобой.

- Насплетничались, - уточнила Марфа.

- Интеллигентные женщины не повторяют сплетен, - хитро подмигнула Нюраня. - Они их сочиняют.

Татьянке было пять лет, когда родился ее братик Эдик - Эдюлечка, а у Клары вдруг материнские чувства проснулись. «Проснулись» - слабо сказано, точнее - взорвались, вылетели наружу, как струя горячего пара из пробудившегося гейзера. Клара слегка помешалась, отдавшись новому чувству: осыпала младенца поцелуями при каждом пеленании от макушки до пяток. Кормила грудью почти до года, еще и прикармливала с полугода: кашами, супами, мясным фаршем. У Эдюлечки, на радость маме, был прекрасный аппетит, а когда он все-таки отказывался от непрерывного приема пищи, Клара давала ему пососать соленый огурец - для возвращения аппетита.

Нюраня увидела внука, когда ему было около года, и он только пробовал ходить самостоятельно. Нюраня пришла в ужас: патологически толстый ребенок. Щеки лежат на плечах, живот огромный, выкатившийся, пухлые ручки к туловищу не прижимаются, ножки в перетяжках, на них вот-вот кожа лопнет.

- Ты что творишь! - напустилась Нюраня на дочь. - Ты зачем его раскормила?

- Тебя не спрашивали! - огрызнулась Клара. - Эдюлечка, зайчик! - сюсюкала она. - Съешь еще ложечку! Не хочет мой сладкий. А мама ему сейчас огурчика солененького даст... Кто у нас головкой мотает? А кто хочет кусочек колбаски?

- Клара, маленьким детям вредно есть соленое и копченое! Он умял порцию взрослого человека, а ты ему еще толкаешь огурец и колбасу!

- Чтобы пирожков поел.

– Ты ненормальная! Сама превратилась в бочку, легче перепрыгнуть, чем обойти, у Виталика пузо наметилось. Но вы взрослые люди. Преступно уродовать ребенка! Ожирение приведет к серьезным проблемам! Ты вырастишь инвалида!

– Вот всегда так с тобой! – бросила на стол ложку Клара. – Обязательно гадостей наговоришь, настроение испортишь! Как увижусь с тобой, так точно нахлебаюсь отравы. И Татьяна не поедет с тобой в Курск на каникулы! Я не разрешаю! Или у тети Марфы на даче пусть остается, или я с собой ее забираю!

Клара – мать. Ее слово – закон. Стой перед ней и кусай бессильно губы. И так одиннадцать прожитых Эдюлечкой лет, пока, как в поговорке, не было бы счастья, да несчастье помогло.

Кларе понадобилась срочная операция по удалению желчного пузыря. Нюраня взяла отпуск, приехала к ним в военный городок, помогать по хозяйству и ухаживать за больной. Операция прошла неудачно, возникли осложнения, Клару не выписывали из больницы.

Несмотря на волнение из-за здоровья Клары, двадцать дней, которые прожила у них Нюраня, были для Виталика и Эдика неожиданно приятными. Отец и сын обнаружили, что теща-бабушка вовсе не чудовище, а веселый и умный человек, требовательная и одновременно добрая, интересная собеседница, смелая в суждениях, гордая и самодостаточная. Она вызывала восхищение, потому что раньше им никогда не приходилось близко общаться с личностью подобной цельности и величины. Они в нее влюбились: Виталик отчасти с неуместным мужским подтекстом, Эдик – с мальчишечьим восхищением «мировой бабушкой».

От Клары они свои восхищение и любовь скрывали.

Слабая, дважды прооперированная, Клара ревниво спрашивала во время посещений в больнице:

– Вы хорошо питаетесь? Мы семья гурманов, – говорила она матери. – Ты их нормально кормишь? Я-то готовлю вкусно, а ты никогда не умела.

Нюраню не трогали ни шпильки дочери, ни ее болезненный вид:

– Вы не гурманы, а обжоры. Как водка, табак могут стать зависимостью, так и чрезмерная еда. Тебе, кстати, пропишут диету при выписке. Не будешь соблюдать – новых операций не избежать. Оставят желудок размером со столовую ложку, и будешь, гурманка, сидеть на манной каше и овсянке всю оставшуюся жизнь.

Клара в семье была царь, бог и воинский начальник, а теща-бабушка чихала на ее власть, играючи доказывала абсурдность тех или иных поступков, суждений своей дочери. Виталик и Эдик никогда не осмеливались перечить «начальству», а бабушка Нюра, Анна Еремеевна, не прогибаясь, насмешничая над дочерью, никогда не упрекнула зятя и внука в холопской покорности.

Нюране было легко с Виталиком и Эдиком, хотя она скучала без работы.

Виталика она так и не разгадала. Он был хороший и... никакой. Точно боженька, создав праведную душу, забыл вложить в нее хоть крупицу какого-нибудь таланта. Но ведь праведная душа – это тоже большой подарок, далеко не каждому отпущена. Взгляды, которые зять на нее бросал, голодно-мужские, восхищенно-мужские, Нюраню не пугали и не коробили. По специальности она имела дело с женщинами, но насмотрелась на мужиков – супругов рожениц, которые, бывало, в тяжелые роды падали перед ней на колени, рыдали, а через два года, встретив на улице, не узнавали и не здоровались. Мужики под Нюраню нередко подбивали клинья. Но поскольку в гранит забить клин очень сложно, ловеласы довольно скоро собирали инструмент и отправлялись на поиски более податливого материала. Нюраня была убеждена, что приступы мужского восхищения нужно отнести к временному помрачению и во внимание не брать. Она не ставила сознательно крест на своей женской судьбе. Просто ей не встретился человек, который заронил бы в сердце хоть уголек от того пожара, что когда-то запалил Максимка.

Внук Эдик. Не Эдуард и станет ли Эдуардом – неизвестно. «Зови его Эдюлечкой, – требует Клара, – или ты не бабушка!» Пожалуй, она права – Эдюлечка. Очень толстый мальчик. Брюки между жирными, трущимися друг о друга ляжками протираются за неделю. Брюки шьются специального кроя – с треугольными вставками в штанинах, протерлось на внутренней стороне бедер –

из припасенной материи новые треугольники втачиваются. От ключиц до локтя – там, где у мальчишек жилистые мышцы, – на пухлой ватной дряблости розовые овражки треснувшей кожи. Такие бывают у беременных на животе при стремительном росте плода. У Эдика – от неукротимого прибавляющегося жирового слоя. Его дразнили, сколько себя помнит, и дразнят сейчас – жиртрест, сало, колбаса, пончик-батончик, толстый-жирный-поезд-пассажирный...

Это был ее внук, ее кровь, потомок. Милый мальчик, который очень любит кушать, заедает свои позоры – внутренний (трусость) и внешний (жиртрест). Нюраня никогда не испытывала жалости к людям, которые подспудно противились изменению своей неудачной судьбы. Если ты хочешь развернуться на сто восемьдесят градусов, я тебе помогу. А если просто трындишь о своих несчастьях и обидах, на самом деле лелеешь их, как нищий лелеет культу, приносящую доход, то я тебе не ассистентка, не слушательница и не помощница. Но Эдик не взрослый человек – одиннадцатилетний пацан. При мамочке-«гурманке» и папочке-добрячке ее внук вполне реально вступит во взрослую жизнь с комплексом заболеваний и рефлексией затравленного трусишки.

* * *

Нюраня хорошо знала мальчиков, умела с ними общаться, ведь долго жила с Мишей и Кешей, пока те вместе с матерью не уехали в Америку.

Юрия Ганича, мужа Тани-Ревеки, после Войны занесло в США, где он неплохо устроился – пианистом в Бостонском симфоническом оркестре. Более десяти лет не оставлял попыток отыскать жену или хотя бы какие-то сведения о ней, слал десятки писем в Советский Союз, ответов либо не получал, либо приходили отписки. Потом через международную коллегия адвокатов нанял юриста, который отправился в Курск и без труда нашел Таню Миленькую, в прошлом Ревеку Ганич.

Это было потрясение – визит юриста. Но еще большее потрясение случилось, когда через год в Курск приехал сам Юра. Встреча была, как выразилась Нюраня, «водопроводной». Плакали все: Таня неудержимо, Юра с нервной икотой, не сдержали слез мальчишки и Нюраня. Ее поразило, что перед поездкой в СССР Юра развелся со своей американской женой. Правда, детей у них не было. Юра развелся только потому, что Ревека не замужем! При этом Юра

понятия не имел, как она его встретит, возможны ли вообще отношения между ними – людьми, на долю которых выпало много тяжелых, но разных испытаний, чья жизнь наконец устроена, а сыновья, родной и приемный, как писала в своих осторожных письмах Таня-Ревака, даже думать не хотят о переезде в капиталистическую Америку. Они без пяти минут комсомольцы и свою Родину не продадут.

Юра прожил у них больше месяца, потерял работу и контракты на сольные концерты, которых долго добивался. Все – ради того, чтобы увезти Реваку и детей в Америку, страну потрясающих возможностей. Вариант остаться в СССР решительно отвергал. До тех пор, пока не встречался глазами с Ревакой – вновь обретенной любовью. Она тоже была готова ехать с ним хоть на край света. Но только вместе с мальчиками, без которых на миллиметр с места не сойдет.

Нюраня, как всегда, много работала, и «капиталистическая пропаганда» прошла мимо ее ушей. Таня-Ревака светилась от счастья, мальчики заобожали «американского папу». Нюраню трижды вызывали в областное управление КГБ, и она писала объяснительные записки – отчеты о поведении американского гражданина Юрия Ганича, проживающего в данный момент в ее доме. Который никакими секретами не интересовался, о военных предприятиях не расспрашивал и прогулок дальше центра города не совершал. При последнем визите в КГБ Нюране намекнули, что хотели бы видеть в ней «честную коммунистку, которая станет рассказывать о положении дел в роддоме». Нюраня в ответ покрутила пальцами в воздухе – очень хотелось скрутить фигу. Сдержалась. Она была стреляный воробей, который без нужды не дразнит ловцов птиц. Вежливо отказалась, но не без ехидства: разве вам не хватает сексотов в нашем учреждении? Ей безо всяких намеков сказали, что ее безответственное поведение повредит в решении вопроса о воссоединении и выезде семьи американского пианиста.

– Мое безответственное поведение, – ответила Нюраня, – повредит жене вашего сотрудника Кравцова... или Кравченко? Не помню. Я тут с вами лясы точу, а у женщины узкий таз и неправильное положение плода. Возможно, уже началась родовая деятельность. Давайте еще поговорим о моем долге коммунистки. Но спасти женщину и ребенка вы отправитесь лично, во главе отдела или всего управления. Я уже ничего не смогу сделать.

Это был блеф. Кравцова или Кравченко лежала в дородовой палате, и до родов ей оставалось еще дней десять. Однако блеф – это оружие опытных игроков. Не

только шулеров, ищущих личной выгоды, обманщиков, набивающих свои карманы, но и честных тружеников, которые должны расчищать себе поле деятельности.

Юрий добился от сыновей обещания, что они посмотрят на Америку и там уж решат, просто съездят. Нюраня понимала, что с их отъездом она лишится семьи, что ее шумный дом, куда она, усталая, приходит вечером и получает веселый и радостный прием, превратится в могильный склеп. Но Таня, то бишь Ревека, сыновья Миша и Кеша, которых умница Юра принял едино, – это хорошая и правильная семья. Крепкая семья – большая сила, она может существовать на любой почве, в любых географических условиях – в Сибири, в Африке, на Луне, у черта за пазухой. Важней семьи ничего нет, хотя некоторые неудачники находят смысл жизни в работе, а гении – в творчестве.

Оформление отъезда продлилось больше года – нервной бюрократической волокиты. И помогло Нюране постепенно смириться с потерей. Потом они уехали. «Посмотреть на время» обернулось в «навсегда». Ревека писала регулярно. Ее письма были полны шуток о «загнивающем капитализме» и подспудных намеков о благоденствии. Дом, превратившийся, как и ожидала Нюраня, в холодный склеп, она продала вместе с участком. Купила однокомнатную квартиру в девятиэтажном кооперативе. Больших площадей ей не требовалось – убирать проще, а гостей у нее не бывает.

* * *

– Я должна уехать, – сказала Нюраня Виталику, – мой отпуск закончился. Клара выйдет из больницы через неделю, будет слаба, но постепенно оправится. Я хотела бы взять с собой Эдика. До окончания учебного года еще месяц, в школе можно договориться. Внук проведет у меня лето. погоди! – остановила она зятя, подняв ладонь. – Не нужно мне говорить о том, как к этому отнесется Клара. Ты глава семьи, твои слово и решение последние и окончательные. Я им подчинюсь, оставив за собой право уважать или не уважать тебя.

– На юге, в Курске, – пробормотал Виталик, – много фруктов и других овощей...

– Очень много, – заверила Нюраня, – и Курск находится в СССР, а не на другой планете.

Доверительный разговор с внуком состоялся в поезде, на вторые сутки, когда Эдик уже остыл от восторга – школу на месяц раньше покинуть, с бабушкой Нюраней ехать в Курск!

Они сидели у окна, играли в подсчитывание на мелькающем пейзаже людей, коров и автомобилей – кто первым заметил. У Нюрани были пять автомобилей, десять человек и три коровы. У Эдика, обладавшего способностью мгновенно пересчитать стадо, были сорок семь коров, двенадцать человек, пятнадцать автомобилей, из которых две легковушки, остальные грузовики. В придачу три козы с серым козлом, пасущиеся на склоне железнодорожной насыпи.

– Сдаюсь! – откинулась на стенку Нюраня. – Ты выиграл.

– погоди! Еще шлагбаум, три автомобиля, телега...

– Эдик!

– Ну, чего? – Он ерзал в азартном желании победить. Он побеждал очень редко.

– Эдик, я тебя очень люблю!

Толстый мальчик застыл, оторвал взгляд от окна и уставился в столик. С верхних полок свесились головы попутчиц – двух деревенского вида девиц, которые ехали в столицы за большим счастьем.

– Внучек! – продолжила Нюраня. – Я любила бы тебя всякого. Родись ты без ручек или ножек... Ох, как тяжело принимать ущербных младенцев! Я тебя люблю не за тебя, какой ты человек, а потому, что ты моя кровь, как люблю твою маму...

– Ты – маму? – хмыкнул Эдик.

– Конечно! Она же мой единственный ребенок. Я попрошу этих барышень, которые свесили головы со вторых полок, убрать их обратно! – другим тоном, приказным, сказала бабушка.

И девицы исчезли.

Бабушка снова обратилась к нему:

– В медицине рано поставленный диагноз бывает ошибочным и влечет за собой ненужную терапию, то есть лечение. Поздно поставленный диагноз – чаще всего роковой, по сути подсказка для патологоанатома – это те врачи, что исследуют мертвое тело, устанавливают причину смерти. Найти точку между «рано» и «поздно», момент истины – это как схватить жар-птицу за хвост. – Она говорила заумно, для ребенка непонятно. Потому что волновалась. Нюраня редко волновалась. – Эдик, внучек! Подними голову, посмотри на меня. Не стесняйся спросить, зачем я тебе все это рассказываю.

Голову он не вскинул, но глаза поднял:

– Зачем?

– Потому что ты еще очень мал для решений. Было бы тебе хотя бы тринадцать или четырнадцать. Нужно решить...

– Что?

– Остаешься жирным туловом с колбасными конечностями или превращаешься в настоящего сибиряка. У тебя по конституции скелета все задатки.

– В сибиряка – это как?

– Это в могутного мужика, сильного, гордого и спокойно-смелого.

– Какое я имею отношение?

– Прямое. Ты сибиряк по крови. Сложись история по-иному, моя мама, Анфиса Ивановна Медведева, по роду из Турок, сейчас отправляла бы тебя в ночное на луга у Иртыша. Знаешь, что это?

– Нет.

– Ночью коней пасти. Лето. Днем жара, ночью прохлада. Великая река. Огромный луг. Кони всхрапывают, им ноги передние связали, чтобы не убежали далеко. Вокруг луга лес – темный, высокий, от ветерка перешептывается. В лесу сейчас собралась нечисть: лешие, ведьмы – колдуны и колдуньи с ними товарами обмениваются. Колдунам травки заветные от разных хворей ведьмы приносят, а они в ответ жуткое: ноготь мертворожденного дитя... Эдик! Все это сказки. Никаких колдунов у нас не было. Но ведь так нервы щекочет! Горит костер, мальчишки картошку пекут. Нас, девочек, не пускали. Нам приданое готовить – вышивать крестиком. Завидно девчонкам, Эдуард! Из перекормленной телесной массы, которую ты из себя представляешь, из прибитого самомнения еще не поздно выскочить. Это момент истины, между диагнозами. Решение принимаешь ты, но помни, что я тебя буду любить при любом решении. Выскочить будет трудно, но ничто стоящее легко не дается.

– Пацан, соглашайся! – свесилась с левой верхней полки косматая девичья голова. – Я не поняла, про что, но убедительно, как «ТАСС уполномочен заявить...».

– Я бы, сдохнуть, согласилась, – с правой полки вынырнула вторая девушка. – Мне бы такую бабушку!

Нюраня улыбнулась, когда Эдик поднял голову, распрямил жирные плечи и с достоинством сказал:

– Вас, девушки, никто не просил вмешиваться!

Ему было очень трудно первый месяц. Отчаянно, постоянно хотелось есть. Он привык получать на завтрак каши, в которых крупинки гречки или риса плавали в растопленном сливочном масле, плюс бутерброды с колбасой и с сыром. А теперь на завтрак горстка творога и чайная ложка меда. До двенадцати часов, когда можно съесть вареную рыбу и немного салата из капусты с ранней редиской, ни крошки в рот. На обед – жидкий овощной супчик сварить. Он сам варил себе сиротскую еду – бабушке было некогда, она только ужин готовила – кусок нежирного мяса и опять-таки овощи. Он и хотел бы наесться до отвала, да нечего было – в кухонных шкафах и холодильнике пусто, разве что морковку погрызть. Три занятия физкультурой – пробежки вокруг квартала утром и вечером плюс приседания, отжимания, подтягивания перед обедом. Когда он

бегают, над ним окрестные девчонки смеются. Есть чему – синий спортивный костюм обтягивает тело, и видно, как трясутся-колышутся его жиры.

– Стыдно, говоришь? – переспрашивает бабушка Нюраня. – Стыдно – это хорошо. Стыд лечится, а бесстыдство неизлечимо. Покажи им язык или дулю.

– Что?

– Здесь популярную композицию из пальцев называют не фигой, а дулей. Отжаться от пола получается? Или подтянуться на перекладине?

– Пока нет, но уже двадцать приседаний без передышки.

– Прогресс налицо.

У бабушки была большая медицинская библиотека. Какие книги он рассматривал? Не про кожные болезни, понятно, а про женские дела.

Пришла раньше обычного, заглянула ему через плечо, спокойно сказала:

– Это классические роды, хорошая картинка появления головки и постановки рук акушерки. Мне было... лет четырнадцать? почти как тебе... когда впервые на родах ассистировала. Марфа тяжело рожала Митя.

– Бабушка Марфа дядю Митю?

– Именно. Мы ее ноги привязывали в растопырку... Пойдем мясо жарить, я тебе расскажу. Прибился к нам доктор Василий Кузьмич, мой первый учитель и крестный от медицины...

Какая другая бабушка станет малолетнему внуку рассказывать про этапы родовой деятельности и про муки бабушки Марфы (вот бы никогда не подумал!), которая чуть не померла, рожая дядю Митю, а потом про то, как ее женские внутренности и наружности при свете керосиновых ламп зашивали? У него была мировая бабушка!

Через месяц ноющий голод отступил, и он сбросил два килограмма. Бабушка отвела его в секцию бокса. У бабушки полгорода в знакомых – тетеньки, которые у нее рожали, потом привели к ней своих дочерей и невесток, внушек.

Тренер Сергей Юрьевич при виде рыхлого Эдика забегал глазами, заэкал:

– Анна Еремеевна, я вам, э-э-э, конечно, по гроб жизни, э-э-э, но детская секция уехала в летний пионерлагерь, я, э-э-э, тренирую юношей...

– Сергей Юрьевич! Это мой внук! Мы уже сбросили пару килограммов и подкачали икроножные мышцы. Процесс пошел, но далее знания у меня отсутствуют. Согласитесь, нелепо мне осваивать спортивную науку, когда есть вы. Надо вылепить из него соответствующее возрасту гармоничное спортивное тело. Научить его не бояться удара, не бояться драки или, точнее, вести бой. Вы работаете в две смены? Отлично! Эдуард будет приходить к вам утром, на обед возвращаться домой. В котором часу вечерняя тренировка?

– В пять, э-э-э...

– В пять он снова будет в зале. Я понимаю, что Эдуарду потребуется специальная программа занятий, я готова ее оплатить.

– Да разве в деньгах дело? – перестал экать Сергей Юрьевич. – Разве я с вас возьму? Но у нас тут не детский сад! У него ж наверняка одышка! Три раза подпрыгнул – и одышка, пять раз скакнул – и сердце лопнуло!

– Не сгущайте красок! Одышка естественно. Эдик научился контролировать частоту пульса, он его прекрасно чувствует и знает, когда надо сменить ритм. Осведомлен о работе сердечно-сосудистой системы. У моего внука есть цель. Ему нужно помочь. Я именно к вам пришла за помощью как к специалисту! Не привела бы я единственного внука на погибель! Если вы отказываетесь, если вы не способны... Извините за беспокойство! Пойду к тренеру по плаванию. Хотя в бассейне воспитать бойцовские качества проблематично.

– Не надо в бассейн, – смирился тренер. – Ради вас, Анна Еремеевна... Пацан, – повернулся он к Эдику, – ты готов?

- Да!

В телефонных разговорах с родителями Эдик не рассказывал о своих тренировках, о преобразении, которое с ним происходит. Отделялся общими фразами: у меня все нормально, питаюсь хорошо, фруктов ем от пуза, до начала учебного года домой не вернусь, и не просите.

В конце августа за ним приехал отец.

Виталик не узнал сына – это был другой мальчик. Похудевший, вытянувшийся, еще полноватый, но не обрюзглый. Изменения, конечно, на пользу. Но как относиться к иным переменам, Виталий не знал. Сын не просто повзрослел: из толстого неловкого мальчишки он превратился почти в подростка, который держится просто и уверенно, смотрит прямо, разговаривает, не спотыкаясь от стеснительности на каждом слове. Из-за контраста с прошлым и настоящим казалось, что в манерах сына появились и нахальство, и бравада, и самоуверенность, граничащая с вызовом.

- Что ты все косишься на него? – спросила теща. – Как наша «гурманка» отнесется к тому, что сыночек сбросил лишние килограммы, понятно. Впадет в истерику, и вой будет стоять – уши зажимай. Но ты-то сам? Что про сына своего думаешь?

- Он похож на спортсмена.

- До настоящего спортсмена ему, пожалуй, еще далеко.

- Я не про достижения. У нас был один офицер, после института, два года служил. Маленький, корявенький – ничего особенного. Съездил в отпуск, вернулся – не узнать. Грудь колесом, ходит-светится. Спрашиваем: женился, девушку завел, наследство получил? На все ответ – «нет» и хитрая улыбочка. Потом узнали – он в отпуске участвовал в открытом московском международном марафоне, обошел всех чемпионов и занял первое место.

- Я не поняла: это сравнение – в пользу Эдику или в укор?

- Сам не знаю. Непривычно: вдруг вместо маленького слабого сына самодовольный парнишка.

- Ты определись, потому что без твоей поддержки Эдику трудно будет противостоять Клариному натиску. Она ведь обязательно попытается снова превратить его в покорный жиртрест. Виталий! Все очень просто, отбрось интеллигентские рефлексии. Скажи себе: «Я уважаю своего сына!» А еще лучше - скажи ему это лично.

На обратном пути отец и сын на несколько дней остановились в Ленинграде.

Бабушка Марфа всплеснула руками:

- Эдюлечка! Ты ли это?

- Я, но уже не Эдюлечка. Эдуард, можно просто Эдик.

Еще до встречи с бабушкой Марфой он увиделся с сестрой Татьянкой, Соней и Маней. Раньше, когда девочки называли его Эдюлечка (или Пупсик), он слышал в их голосах насмешку, очень обидную.

- Ну, ты даешь! - восхитилась Татьяна.

- Это уже не Эдюлечка, - покивала Соня.

- Эдуард в чистом виде, - подтвердила Маня.

- Попрошу не принижать моего родного брата! - сказала Таня. - Эдуардище!

Бабушка Марфа тоже не скупилась на похвалы:

- Какой рослый! Стройный! Не узнать! Тебе ж только в ноябре двенадцать, а все шестнадцать можно дать.

- Прямо как сибиряк? - смеялся польщенный Эдик.

Он очень хотел услышать это определение. Наивысшее. В ленинградской семье, в ядре их рода, у бабушки Марфы так называли только достойных пацанов. Потом, после восемнадцати, после совершеннолетия можно было получить особо ценное: «могутный мужик». Могутный – это хорошая физическая выправка плюс правильный характер.

– Чисто сибирский парень, – подтвердила бабушка Марфа.

Он чуть не заплакал от радости. И захотелось выплеснуть, что знает, как она, бабушка Марфа, рожала дядю Митю. Удержался. Не стерпел бы – навеки «могутного» не заработал, приведя бабушку Марфу в ужас. Потому что замечательная бабушка Марфа – это не мировая во всех отношениях бабушка Нюраня, которая внушила строго-настрога, что врачебная тайна – святее всех тайн.

Он бабушке Нюране как-то сказал, что тоже хочет стать врачом.

Она хитро сощурилась и заговорщицки зашептала, как сказительница из радиопостановки:

– Всем Туркам в Сибири приписывали силу лекарскую, волшебного предсказания. Твои прапрабабка, прабабка, мать моя Анфиса Ивановна, да и я, грешным делом, – еще тише забормотала, – могли взять больного за руку или провести ладонью по телу... И... И чувствовали ответ: жив ли будет, умрет ли... Положи свою ручку на мою ладонь. Что чувствуешь?

Он ничего кроме теплоты не чувствовал. Бабушкина ладонь, большая, костистая, белесая, с тонкой, прозрачной от частого мытья кожей, со вспухшими кореньями синеньких вен ничего ему не говорила.

– Ну? – поторопила бабушка.

– Подожди, я слушаю!

– Прыщ, – подсказала бабушка Нюраня, – фурункул или даже карбункул, где у меня вскочил?

Он тужился, хмурил брови, поджимал губы.

- Дурашка! - расхохоталась бабушка, вырвала руку и щелкнула его по лбу.

- У тебя нет прыщей и карбункулов!

- Конечно, нет! И нет никаких фантастических предчувствий, интуиций без знаний и опыта, без многих лет упорной учебы. И врачом тебе становиться не обязательно! Ты будешь жить и выбирать. Стать физиком, как дядя Василий, биологом, как дядя Егор, режиссером, как дядя Степан, художником, как дядя Митя, военным, как твой отец. Кем угодно! Спасибо нашей великой советской власти! Без нее я бы доила коров и падала от изнеможения, когда осенние дожди заливают конопляное поле, а надо собрать урожай. Выбор - это свобода!

- Я выберу медицину, - стоял на своем Эдик. - И буду лечить детей.

- Толстых? От ожирения? - подсказала бабушка.

- От нарушения обмена веществ, - вернул ей внук выражение, которое она употребляла, когда в начале курских каникул водила его по разным врачам-специалистам.

Эдик с отцом нечаянно подслушали, как бабушка Марфа восхищалась преображением Эдика в разговоре с мужем:

- Нюраня, наша умница! Како сотворила со внуком!

- Если бы мальчик сам не хотел измениться, - ответил Александр Павлович, - был рохлей, в отца, то «наша Нюраня» ничего бы не добилась. А пацан стоящий.

Отец Эдика, услышав нелюбезную характеристику, покраснел, стушевался.

Эдик повернулся к нему:

- Папа, это неправда! Ты не рохля. Я уверен, что если бы ты воевал, то совершил бы много подвигов. Ты говорил, что играл раньше в футбол и хоккей. Потренируешь меня, чтобы не выходить на поле совсем уж неумехой? И еще

хочу продолжить занятия боксом, но секция только для солдат и военнослужащих. Договоришься, чтобы для мальчишек организовали? Многие ребята захотят, мне кажется.

У Эдика, как и у Виталия, была слегка выступающая верхняя челюсть с крупными зубами. Они стеснялись их демонстрировать и поэтому давили улыбку, не позволяя губам растягиваться. Теперь же сын улыбался отцу открыто и свободно – еще одно приобретение курских каникул, бабушкино влияние.

– Есть такое выражение, – говорила бабушка Нюраня внуку, – «показать зубы». Тебе и Виталию повезло: не надо пыжиться, стоит только раздвинуть губы. И враг попятится, а свой человек порадует: уж этот зубастый всегда меня защитит.

Как и следовало ожидать, увидев на перроне рядом с мужем незнакомого длинного мальчика, через несколько секунд опознав в нем сына, Клара заголосила:

– Что она с тобой сделала! Змея! Исхудал мой зайчик! Ой, не мать у меня, а гадюка! Ехидна, подавись ты теми деньгами, что на нем сэкономила! Уморила моего Эдюлечку...

Эдик гордился собой, пребывал в эйфории, когда ленинградские родственники выказывали восхищение, смешанное с добрым удивлением. Четыре месяца ему было трудно, тяжело, временами накатывало отчаяние, хотелось все бросить, завалиться в Домовую кухню на первом этаже дома, в котором жила бабушка. Из Домовой кухни пахло так аппетитно, что живот урчал, как голодный волк. Там, внизу, на первом этаже, можно было натрескаться борща, пирогов... У него были деньги, мама перед отъездом ему сунула: «Если она станет тебя голодом морить, купи себе провизии». Он выстоял, он перелепил себя, что было вовсе не так же легко, как пластилинового солдатику скатать в комок и вылепить нового.

Он имел право гордиться собой! А мама, обнимая его, плакала с отчаянием, громко понося бабушку, привлекая внимание проходящих пассажиров, которые рассматривали Эдика, отыскивая в нем уродства. Маме он был нужен прежний – толстый, вечно больной, сопливый, с компрессами на шее, из окна

наблюдающий, как мальчишки гоняют во дворе мяч или шайбу.

Эдик беспомощно и раздраженно, с просьбой о помощи посмотрел на отца.

Виталик с силой отлепил жену от сына, прижал к себе:

– Здравствуй, Клара! У нас все хорошо!

– Как хорошо? Сынок доходяга...

– Прекрати! – наклонился к ее уху Виталик. – Прекрати устраивать представление!

Что-то в тоне мужа и во взглядах сына заставило ее умолкнуть. Что именно, Клара не поняла. Она страдала искренне, актерствовала лишь чуточку, она знала, что от матери нельзя ждать ничего хорошего, но чтобы внука в узника концлагеря превратить!..

Клара называла себя несчастной женщиной, но жить несчастной она не умела. Несчастные женщины – это историческая роль русских баб, отходить от которой зазорно. Костюм джерси, хрустальная посуда, новый ковер, мебельная полированная стенка в процессе добычи и в триумфе приобретения обеспечивали ей радостный подъем духа. А также: плетение интриг, распространение сплетен, кружение голов среднему и старшему офицерскому составу. Она искрила на праздничных застольях и в офицерском клубе, всем было известно, что замполит по ней с ума сходит, а зам по тылу скандалит с женой, помешавшейся на ревности к толстой продавщице из военторга. Никто не мог уличить Клару в изменах мужу, их и не было, Кларе требовалось только платоническое обожание. Она не была красавицей в молодости и с годами не похорошела. Пухлые щеки обвисли, стекли с лица брылами, уголки рта опустились. Выражение лица стало злым и суровым. Когда Клара стояла за прилавком, мало кто осмеливался указать ей на недовес масла или что в брошенном на весы куске мяса одни жилы и кости. Тем удивительнее было преображение Клары, когда она открывала рот, хотела увлечь, обворожить, вскружить голову. Чаровница – это не смазливое лицо, а женский талант.

Она не стала генеральшей – Виталик со скрипом дослужился до подполковника. В собственной семье она не находила поддержки в обличении своего главного врага – матери. Два любимых и любящих ее человека – муж и сын – решительно не желали, чтобы Клара «открыла им глаза на эту змею». Стоило ей привести доводы, Виталик закрывался газетой или выходил из комнаты. Эдик пуще того: запретил ей слово дурное о бабушке сказать, в противном случае – бойкот. Она поначалу думала: глупые угрозы. Но сын с ней первый раз две недели не разговаривал, второй раз – месяц. Видеть презрение и равнодушие в обожаемом Эдюлечке (он только ей позволял себя так называть) было трудней, чем заткнуться и, поджав губы, молча качать головой: «Вы-то ее, дураки, не знаете!»

Настя Медведева, невестка Марфы и дочь Камышина, говорила, что Клара – как молодое вино, брага. Если принять немного, то хмель радостный, веселый, хохочешь-заливаешься над мизинчиком, который тебе показали. Но если перебрать, похмелье тяжелое – с головной болью, проклятиями и самобичеваниями. Клара умеет развеселить, завести, закружить, но Клара в больших дозах, с ее страстными монологами о якобы зловредной матери – настоящая отравка.

Марфа, которой больше всех доставалось накопленных залпов про мать-змею, пропускала их через себя, точно воду через сито. Такое у девочки (сорокалетней) «отличие особенности», ей выговориться надо.

Камышина удивляло единодушное убеждение Марфы и Нюрани, что первопричина всех несчастий Клары – мать, то бишь сама Нюряня.

– В чем эта тараторка несчастна? – спрашивал Александр Павлович жену. – По словам Клары, только потолки в доме коврами не завешены. Обломились от тяжести полки в серванте, хрусталь вдребезги – через год восстановила. Такого покладистого мужа, как Виталик, ни в одну лотерею не заполучить. Генеральшей не стала? От этого наша армия только выиграла. Теперь что касается вины Нюрани. Вот представь: хорошая мать растит дочь, которая с пеленок шалава шалавой. Мать старалась как лучше, а девка все равно на панель улизнула. Потом является, в подоле принесла и дурными болезнями заразилась. И мать винит: ты плохая, потому что меня не остановила.

– Горе, – покачала головой Марфа.

- Но вина матери только в том, что в колыбели свое отродье не задавила!

- У детей достоинства - собственные, а недостатки - родительские, - вздохнула Марфа.

- Столько лет вас, сибирячек, наблюдаю, а поражаться не перестаю.

Нюраня вины своей не отрицала, но не считала ошибки, допущенные в молодости, поводом и основанием попустительствовать самодурке Кларе. Дай дочери волю - скрутит всех в веревки, в канаты, будет концы держать в кулаке и хлестать направо и налево. В точности как делала ее мать, бабушка Клары, покойная Анфиса Ивановна. Если Клару, например под наркозом, спросить об устройстве мира, то дочь скажет, что Солнце, а по орбитам планеты - это все ерунда. В центре Вселенной она, Клара, остальные люди крутятся вокруг нее, обязаны крутиться. Именно такое положение дел казалось Кларе единственно справедливым, какую бы она ни строила из себя несчастную жертву обстоятельств. Только Клара не Солнце, дарящее тепло и свет, а черная дыра, в которую легко провалиться, и тогда у тебя не останется собственных забот, проблем и радостей, останутся только Кларины.

Пусть дочка плюет на нее желчью - мимо цели, да и утереться привычно. Зато есть внучка Татьяна - родная душа. И очень внешне на нее похожая - все говорят. Перелетела через кровь Емельяна, Виталика - выглядит точно Нюраня в молодости. И есть внук Эдик - сложный мальчик, но Клариной, пироговской, проницательности, стяжательства, пыли-в-глаза-пускательства в Эдуарде точно нет. Хочет врачом стать. Неужели дар и талант их рода, всегда женский, воплотится в ее внуке? И во внучке, которая тоже мечтает лечить людей? Ее потомки унаследуют ее главную страсть?

Василий и Егор

Окончив университет экстерном, через два года, в 1948 году, Василий защитил кандидатскую диссертацию, еще через три года - докторскую. Он жил в подмосковной Дубне, работал в страшно секретном атомном институте.

Его успехи в науке, да и в личной жизни, случались благодаря редкому качеству – не поддаваться инерции мышления и поведения. Эта способность потому и редка?, что противоречит природе человека, склонной вырабатывать штампы как самые простые и логичные способы жизнедеятельности. Если в общественной бане, после ремонта например, поменять местами мужское и женское отделения, повесить большие вывески и броское объявление, то конфузы все равно неизбежны. Большинство мужчин и женщин по привычке будут идти в старые помещения. Василий к большинству не относился.

У него была женщина, которую он любил, и вдруг свалилась на голову другая, забытая, – женщина с двумя его сыновьями-младенцами. Как честный благородный человек он был обязан жениться на Галине, малознакомой медсестре из госпиталя, матери его детей. И, соответственно, расстаться с Марьяной – без сомнений, его судьбой, его половиной, его берегиней. Всю оставшуюся жизнь они провели бы в тоске-печали по несбывшему счастью. Душещипательно, как в романе слезоточивом. Василий книжных правил не признавал. Он хотел найти выход и нашел. Клещами вырвал из Марьяны клятву – она его не бросит, она его жена по чести, совести и любви. Расписался с Галей, усыновил близнецов, пристроил их в хорошую московскую квартиру к Пелагее Ивановне, вдове протезного мастера. Сыновья и дочь Пелагеи Ивановны погибли на Войне, а сама она вступила в ту возрастную русскую женскую пору, когда без внуков – как без смысла жизни. А тут вам сразу два – получите!

Курчатовская команда приступила к созданию атомной бомбы, когда еще шла Война. В руководстве страны мало кто понимал значение нового оружия. Среди простого населения – никто. До бомбардировки Хиросимы и Нагасаки и не догадывались, какая мощь содержится в атомных зарядах. Секретность была строжайшая. Но Василия распределили в Дубну. Ведь он Фролов, а не Медведев, и его отца не расстреляли в тридцать седьмом году – биография чистенькая, а студенческие научные работы впечатляющие.

Когда в Дубне началось строительство научных корпусов, возвели и несколько жилых домов для ученых и технических работников, Василий получил однокомнатную квартиру. Перевез к себе Марьяну. Брата Егорку – к Пелагее Ивановне.

Егорка, старшеклассник, уже не щеголял своими партизанскими орденами, не сквернословил и не нарывался на стычки с окрестной шпаной.

Ему не хватало отца, Василий это прекрасно понимал, но не мог да и не желал заменить брату отца, а также мать, многочисленных сибирских родственников с их суровой нежностью и, главное, сердечным надзором-вниманием. В стране поголовная безотцовщина, Егорка не исключение, пусть сам справляется со своими подростковыми демонами, а заодно присмотрит за племянниками.

– Тут два моих короеда, – сказал он брату. – Галя и Пелагея Ивановна, тютиматюти, испортят пацанов как пить дать. Ты контролируй процесс, чтобы не превратили их в писклявых барышень.

– А ты новую атомную бомбу будешь строить? – ухмыльнулся Егор.

По тому, как дернулся брат, Егор понял, что попал в цель.

Василий захватил брата за вихор на макушке, притянул его ухо к своим губам:

– Я тебе ничего подобного никогда не говорил! А если ты еще раз вздумаешь фантазировать на данную тему, то я вырву у тебя язык!

Галя своего законного мужа не понимала, была на него обижена и считала эгоистом. Отчасти это было верно: Василий никогда не спрашивал родных, что им нужно, он вынуждал их делать то, что было нужно ему. Его воля – точно гипноз, под действием которого ты подчиняешься безропотно и даже с волнительной готовностью солдата, до которого снизошел своими приказами главнокомандующий. Очнувшись, понимаешь, что тебя развернули и заставили шагать туда, куда ты не хотел, не планировал, не желал и не собирался идти. А еще спустя какое-то время вдруг обнаруживаешь, что прибыл в точку наилучшего расположения. Главнокомандующему дела нет до личных проблем солдат (Галины женские обиды, Егоркина подростковая тоска, терзания Марьяны из-за двусмысленного положения) – он их не видит, а попробуй рассказывать о них – пожмет плечами: «Не морочьте мне голову! Это все ерунда, настроение, психология!»

Галя устроилась на легкую медсестринскую должность в отделение физиотерапии городской больницы – не то что в хирургическом тяжелых прооперированных выхаживать. Содержимое мастерской Гаврилы Гавриловича постепенно распродалось, Василий ежемесячно переводил половину

зарплаты – они не испытывали нужды и даже иногда покупали продукты и вещи в кооперативных магазинах.

По мере того как сыновья росли, превращались из плаксивых пупсов в забавных карапузов, в смысленых мальчуганов, росли отцовские чувства и привязанность Василия. Вначале, в редкие приезды в Москву он смотрел на них с нескрываемой досадой. Потом стал улыбаться, наблюдая за возней близнецов, потом смеяться, недолго участвуя в их потешных играх, поймал себя на безотчетном восхищении, умилении и гордости. Это как сухое семечко, попавшее тебе в ботинок, досадливое, колющее, вытащить и бросить на землю. И с изумлением наблюдать, как из семечка с поразительной скоростью вырастает крепкое дерево. Второй процесс вхождения в отцовство, когда у них с Марьяной родилась дочь Вероника, шел гораздо быстрее. Поэтому Галине казалось, что Василий любит дочь больше, чем ее сыновей. Марьяна, в свою очередь, считала, что Василий, испытывая вину перед Володей и Костей, не имея возможности видаться с ними так часто, как с Вероникой, душевно привязан к сыновьям сильнее, чем к дочери.

И только Марфа видела, что Вася к детям относится одинаково, делит на них поровну ту, по правде сказать, небольшую часть своего умственного внимания, которая остается от его научных интересов.

К Марфе, ставшей центром разросшегося рода, Василий приезжал с Марьяной и тремя детьми, которые обожали свою ленинградскую бабушку. Марьяна подружилась с Настей, они активно переписывались, а не от случая к случаю, как остальные родственники. Марьяна всегда брала в Ленинград Володю и Костю, если отправлялась без мужа. Галя приезжала только с сыновьями.

Как-то Марфа посочувствовала Василию:

– Тяжело тебе приходится – на две семьи-то жить.

– Ничего подобного, – возразил Василий, – я ловко устроился. Знаете, сколько мужиков мне завидует!

– Ну-ну, – вздохнула Марфа.

Гордость – фамильная черта всех Медведевых, но Василий был чемпионом среди гордецов. Хорохорится, ни за что не признается, как ему противно невольное двоежёнство. Так же точно он не любил упоминаний о его инвалидности, ходил на протезе ровно, не скажешь, что у него под брючиной деревянная нога.

Василий не афишировал свои необычные семейные обстоятельства, но и не делал из них тайны. Кому было положено по должности, всё прекрасно знали. Для сослуживцев и соседей Фроловы были обычной семьей: ученый из института, его жена школьная учительница, дочка ходит в детский садик. В другой точке Советского Союза, в другом коллективе Василия скоренько прижали бы к ногтю, а в Дубне анонимка пришла в партком только после десяти лет безоблачного существования. Объяснялось это тем, что Дубна была уникальным местом, где собрались талантливые ученые, фанатичные подвижники науки, где на первый план выдвигался мозговой штурм, результатом которого становились научные победы, равнявшиеся многократному усилению оборонительной мощи страны. От этого интеллектуального сгустка, как от шаровой молнии, отскакивали беды и проблемы, бытовые и духовные, терзавшие простых советских людей. Во многом благодаря обеспечивающим сверхсекретность офицерам госбезопасности, которые тоже были не дуболомами, понимали, что нельзя резать куриц, несущих золотые яйца. Но Василий с его неспособностью проявлять деликатность при признаках научной тупости и прохиндейства легко обрастал недоброжелателями.

Анонимка была в лучшем исполнении жанра доноса: ложь смешивалась с правдой, домыслы с фактами. Писал человек, явно не чуждый научного стиля, потому что выражения: «таким образом», «является», «из чего следует», «следуя логике» – имелись почти в каждом предложении, а сами предложения были длинны, путанны и с ошибками пунктуации и орфографии.

Секретарь парторганизации отдела, замечательный мужик, Петя Егоров – ученый, не хватавший звезд с неба, но обладавший качеством азартного охотника – ночи сидеть, не есть, не спать, но найти ошибку в расчетах, анонимку Василию показал:

– У нас ведь нет четких инструкций, знакомить обвиняемого с доносом или оставлять в неведении. Но ты, Вася, быстренько прочитай и забудь, что я ее тебе показывал. Подготовься. Мы обязаны провести заседание бюро, не отвертись. Эта гнида, если не отреагировать, дальше будет писать. Подготовься морально, – повторил Петя, – повинная голова и то да сё. Морально, – хохотнул он, – над аморалкой.

Василий каламбур не оценил, слишком зол был.

«Доваю до вашего сведения, – писал аноним, – что зав. секцией Василий Фролов является развратником, бросившим семью с двумя детьми, проживающую в Москве и следуя логике нисчествующую. Сам же Фролов завел вторую семью которую все принимают за настоящую, хотя у его условно называемой супруги другая фамилия, а их общий ребенок девочка не может следуя логике быть подтверждением юридического брака. Из выше приведенного мы можем сделать два вывода. Первое: Фролов – морально разложившийся тип осквернивший звание советского ученого. Второе: поведение Фролова является подтверждением того, что службы, призванные обеспечивать надежность секретности нашего учреждения не исполняют своих обязанностей, вверенных им советским государством».

– Баба это писала, – сказал Вася.

– И мы ее с тобой знаем, – кивнул Петя. – Как она второй пункт ввинтила? Теперь не отмажешься. На заседание бюро по твоему личному делу придут ребята из «молчи-молчи» отдела. Обязаны. Но они вменяемые! Главное, ты не ерепешься!

– Понял.

– Понял и постарайся! Это не вопрос, Вася! Это партийный приказ! Тебе на полигонные испытания в Казахстан ехать!

– Вот именно! Важные испытания, а тут бред профсоюзной бабы!

Марьяна, которой он, обладающий фотографической памятью, слово в слово процитировал анонимку, просила о том же – не хорохорься!

– Свет не карает заблуждений, – говорила Марьяна словами Пушкина, – но тайны требует от них.

– Что происходит со светом, когда тайное становится явным? – спросил Василий.

– Он как раз карает! Вспомни Анну Каренину!

– Мы с ней знакомы?

– Вася! Когда ты злишься, то начинаешь вредно шутить. Партийное бюро не место, где злятся и шутят!

– Моя мама однажды, плохо помню, маленьким был... – почесал затылок Василий. – Или тетя Марфа сказала? Не суть. Выражение следующее: «Грех не беда, молва нехороша».

– Видишь, сколько аргументов за правильную стратегию твоего поведения на бюро! И Петя, партийный секретарь, назовем его гласом государственным, и Пушкин – наше литературное сокровище, и сибирская мудрость...

– Марьяна! Не нужно со мной разговаривать, как с мелким хулиганом, пойманным на базаре за воровство пирожка!

– Что ты! Извини! Разве ты мелкий хулиган? Задайся ты целью обчистить банк, легко бы справился.

– Плевое дело.

– Только тебе не интересны капиталы. Тебе, кроме науки, вообще ничто не нужно.

– А вот это враки! Ты и вся родня, – он сделал руками круговое движение, – очень даже мною любимы. Часто. Иногда.

– Иногда часто, – передразнила Марьяна. – Никому не признавайся, что твоя жена русский язык преподает. Вася, если тебя выгонят из партии, то с наукой придется расстаться. А вся родня, – она повторила его жест, – будет сильно опечалена. Обещай мне, что будешь держать себя в руках!

– Постараюсь. Я же не дурак!

– Часто иногда.

Надо было заставить себя играть роль раскаявшегося грешника, пользующего двух баб. Он к Галине пальцем не притронулся! И почему к нему в штаны лезет партийное бюро? Какое все это имеет отношение к вычислению сроков мелкого заряда, запускающего ядерную реакцию? Спокойно! Он не будет злиться. Он впадает в ярость только по мелочам, а при серьезных проблемах он как удав спокоен. Удаву хорошо, спаривайся не хочу с любой гадюкой.

Василий заготовил слова покаяния: по молодости-де, на войне, в госпитале сошелся с медсестрой, обычное фронтовое дело. Как честный человек не бросил ее, женился, усыновил детей. Встретил главную, взаимную любовь своей жизни, не смог разбить судьбу еще одной женщине, да и собственную. Виноват, товарищи, понимаю, осознал, исправлюсь, больше не буду. Если партийное бюро постановит, он и с любимой женщиной больше не будет, и даже согласен на кастрацию...

В начале заседания, когда читали анонимку, Василий держался отлично. Сидел, потупившись, повторял мысленно заготовленную речь, в которой обещание больше не вступать в близость с Марьяной, как и кастрация, были, конечно, лишними.

Его бы пожурили и отпустили с миром, тем более что донос был анонимным, а от супруг Василия никаких жалоб не поступало. Служба, именуемая физиками «молчи-молчи», в лице офицеров в штатском, не желая иметь собственных служебных проблем, спустила бы все на тормозах.

Закончив читать письмо, Петя Егоров попросил Василия объяснить.

Василий встал, обвел взглядом членов бюро. Среди них имелись те, чей моральный облик далек от хрустального, не только рыло в пуху – с головы до ног в перьях. Физики – не монахи.

– Какого черта мы здесь комедию ломаем? – спросил Вася, у которого вылетели из головы заготовленные слова. Злое бешенство вспыхнуло мгновенно, заклокотало. И выражался он хоть и язвительно, но в сравнении с теми характеристиками происходящего, что рвались наружу, культурно. – Декораций не хватает в этом спектакле. Может, мне за чемоданом с грязным бельем сгонять?

– Товарищ Фролов! – повысил голос Петя Егоров. – Партийное бюро не место для подобных эскапад! Отвечайте по сути! Разъясните ваши отношения с женщинами.

– Я... своих... отношений... с женщинами прилюдно не обсуждаю! – медленно, сквозь зубы процедил Василий. – Половыми отклонениями, в частности эксгибиционизмом, не страдаю...

Две недели милиция и народная дружина отлавливали мужика, который пугал женщин и девочек, выскакивая из кустов, распахивая плащ, под которым не было ни штанов, ни трусов. Во время инструктажа доктор сказал, что бить мужика не следует, это заболевание под названием эксгибиционизм. Но когда мужика поймали, все-таки отдубасили, сомневались, что лекарства помогут, кулаки – надежнее.

Почему этот извращенец всплыл в гневном сознании Василия? Ярость – это хаос мыслей. К теории хаоса нелинейных динамических систем физики и математики только подбираются. Как бы то ни было, Василий понимал, что вредит себе, что надо успокоиться и исправить положение. Вместо этого ухудшил его, рассказав... анекдот.

– Подходит эксгибиционист к старому еврею-портному, распахивает пальто. Еврей долго смотрит, а потом спрашивает: «И вы хотите сказать, что это качественная подкладка?»

Большинство мужиков невольно рассмеялись, Петя Егоров, пунцовый от натуги, кашлял, подавляя хохот. Петя был очень смешлив.

Вскочила женщина, председатель профсоюзной организации. Как ученый эта тетка была ноль. Василий ей однажды под горячую руку сказал: «Раздавайте путевки, устраивайте детские елки-утренники, пишите диссертацию, но не суйтесь в наши эксперименты! В науке вы как жаба в муравейнике». Назвать даму жабой – хамство, и никогда она этого не забудет и не простит. Анонимку явно писала эта тетка.

– Товарищи коммунисты! Поведение Фролова выходит за рамки! Рассказывать анекдоты на бюро! Это прямое оскорбление партии! Человек, который вчера предал женщину, завтра предаст Родину!

Повисла нехорошая тишина. Молчали даже те, кто хотел бы защитить Василия, вырулить разбирательство в благоприятную для него колею.

Он побледнел от ярости, но заговорил спокойно, только чуть растягивая слова, медленно:

– Если бы вы были моей женой, я бы никогда вас не бросил. – Это прозвучало как странный, неуместный, льстиво трусливый комплимент. Пока Вася после паузы не продолжил: – Я бы повесился!

Встал, не прощаясь, вышел из комнаты. Старался не хромать: почему-то в моменты волнения несуществующая нога болезненно дрожала.

Василию вклеили партийный выговор и уволили с работы. Пока писались приказы и вступали в действие постановления, слетать в Казахстан он успел. Испытания прошли успешно, ученые и военные прыгали и обнимались как дети – мальчишки-футболисты, чья дворовая команда выиграла.

Прохлаждался Василий недолго, его взял в свою лабораторию Флёров, который к тому времени ушел из военного атомного проекта. Марьяна написала в письме Насте: «Георгий Николаевич сказал, что на синтез и исследование свойств трансурановых элементов многоженство никак не влияет».

Косте и Володе исполнилось двенадцать лет, когда у Гали случился роман с врачом-рентгенологом и плавно подкатил к женитьбе. Но Василий решительно отказался дать развод: чужой дядя воспитывать моих сыновей не будет! Плачущая Галя позвонила Марфе: выручайте! По телефону такие проблемы не решить, и Марфа отправилась в Москву. С ее стороны это был почти подвиг. Постоянно всех зазывая и приглашая к себе, Марфа терпеть не могла трогаться с места.

Пелагея Ивановна и Марфа Семеновна встретились впервые и очень друг другу понравились. Хотя Пелагея Ивановна вначале оробела: Вася и Егор говорили, что тетя Марфа – простая деревенская женщина, а приехала дама, хорошо одетая, в перчатках и шляпке, на ногах ботильоны на каблуках.

* * *

Пелагее Ивановне было невдомек, что Марфа после замужества, считая своим долгом хоть как-то «соответствовать», прошла нелегкий путь преображения. Камышину никаких изменений в ее внешнем облике не требовалось, ни о чем он не просил, не намекал. Но собственная гордость! Будет позорить мужа, выступая рядом с представительным интеллигентным мужчиной деревенской бабой!

Самым тяжелым испытанием был первый выход в свет: торжественное собрание по случаю Победы в мае сорок пятого года на заводе, где Камышин работал главным инженером.

На помощь пришла Настя, убедившая Марфу заранее ходить с непокрытой головой, чтобы привыкнуть. Без платка Марфа чувствовала себя лысой каторжницей. Настя на толкучке купила платье: немецкое, трофейное, синего бархата, по моде с большими, подбитыми ватой плечами, украшенными по ткани вышивкой серебряной нитью, круглый воротник по кантику оторочен мелкими жемчужинками, пуговицы до пояса тоже жемчуг, но покрупнее, свободного края отрезная юбка ниже колен, но все-таки выше, чем обычные юбки Марфы. Настя также приобрела чулки, туфли, сумочку, тонкие шелковые перчатки.

От предложения подстричь волосы и сделать завивку-перманент Марфа решительно отказалась:

- Уж лучше кислотой облиться, уродине-то все прощается.

- Очень моему папе подходит уродина!

Настя наряжала Марфу, укладывала ей косу на голове короной, припудривала лицо, красила губы помадой:

- Бледненькой, бледненькой, не сопротивляйся! Я ж тебе не рисую малиновый бантик, сейчас таких не носят!

Цепляла на согнутую в локте руку сумочку и заставляла ходить по коридору в новой квартире.

Первая репетиция была кошмарной.

- Что ты ноги как корова растопырила? – ругалась Настя. – Сдвинь коленки, поднимай их, не шаркай! Локти прижми! Это дамская сумочка, а не мешок с дустом. А выражение лица! Мученическое, словно на закланье ведут.

- Так и есть. Ой, как тяжело, взмокла вся...

- Улыбайся!

- Кому?

- Всему! Война кончилась, Победа! Ты замуж вышла, ты счастлива! Мы живы и здоровы! Чего тебе еще надо?

- Лифчик обязательно нада? Грудя-то как срамно торчат.

- Обязательно!

Степка и Александр Павлович пришли домой, застыли в дверях во время третьей репетиции, когда дело пошло на лад и Марфа уже не напоминала перепуганную ряженую корову. Навстречу им шествовала незнакомая красивая женщина. Мама? Марфа? Камышин расхохотался, но не насмешливо, а как человек, который всегда о чем-то догадывался, а теперь радуется, что его догадки верны.

Степка сказал:

- Умереть и не встать!

Умереть со страху Марфа вполне могла. Стоит ей рот открыть, ляпнуть что-нибудь, и все поймут, что жена у Камышина деревня деревней.

Она даже совершенно серьезно предлагала ему:

- Давайте всем скажем, что я немая?

- Ты сама и скажешь, - веселился Камышин.

Генеральную репетицию Настя провела на улице. Под ручку они фланировали по Чкаловскому проспекту.

- На меня пялятся, - шептала Марфа.

- Смотрят с восхищением. Выше голову, не сутулься!

У продовольственного магазина Марфа затормозила:

- Селедку дают.

- Фу! - скривилась Настя. - В таком платье и в очереди за селедкой! Знаешь, как о тебе Марьяна говорит? Словами Некрасова:

Есть женщины в русских селеньях

С спокойною важностью лиц,

С красивою силой в движеньях,

С походкой, со взглядом цариц...

– Кака из меня царица?

– Така! – отрезала Настя. – Ты себя не знаешь, ты в зеркало смотрелась раз пять в жизни. Не смей мне говорить, чего в него пялиться, краше не нарисуешь. Мы ведь нарисовали. Марфа, ты чего хочешь? Какого лешего мы все затеяли?

– Чтоб я соответствовала.

– Так соответствуй! Походка и взгляд царицы. Голову подняла, зад поджала, грудь вперед! Есть эффект! Дворник Муса метлу от изумления выронил.

На торжественном заводском собрании и на банкете из-за страха в любую минуту оскандалиться Марфа держалась с каменным достоинством, отвечала односложно, разговора не поддерживала. Она произвела впечатление очень красивой статной женщины, но самодовольной и чванливой, которая даже в такой светлый праздник сидит как Снежная королева.

На вопрос Насти, как прошло, Марфа ответила:

– Они подумали, что я палку проглотила.

* * *

Марфа, конечно же, была противницей разводов. И правильно, что после Войны ужесточили законы против распада семей. Но у Василия запутанное жизненное положение, и навести в нем порядок – во благо всем, то есть всем его женщинам. Развод – большой позор. Суд, да и объявление в газете требуется опубликовать. Плюс немалый штраф виновнику распада семьи. Галина хоть и инициатор развода, но, как ни крути, а виноват Василий, ему и раскошелиться.

Васе было начхать на суд, позор, объявление в газете и штраф. Единственная уступка, которой добилась от него Марфа: Галина получит развод, когда

сыновьям исполнится шестнадцать лет. Она ведь не отдаст им с Марьяной детей? Не отдаст. Вот пусть и молчит в тряпочку.

– С другой стороны, ведь мог сказать восемнадцать, двадцать и не отступился бы, – утешала Марфа Галину. – Для твоего врача как бы испытательный срок, если любит – дождется. А пока можно... ну, как Вася с Марьяной.

– У рентгенолога жена полгода назад умерла, – хлюпала Галина. – Он хочет нормальную семью, не посмотрел, что у меня дети, а у нас в поликлинике при больнице знаете сколько одиноких женщин!

Так и получилось: рентгенолог испытательного срока не выдержал, женился на завлабораторией. У Гали было еще несколько романов, но все скоротечные.

С годами статус замужней женщины, у которой «муж доктор наук на секретной работе», Галину начал устраивать, и разводиться она уже не хотела. Так и заявила Василию, который, верный своему слову, через четыре года предложил ей подать заявление на развод.

Он выслушал Галю и пожал плечами:

– При чем здесь ты? Я хочу, чтобы Марьяна наконец стала моей официальной женой. С мальчишками поговорил, они все поняли.

– Вася, у тебя ужасный характер! Ты мне всю жизнь исковеркал.

– Характер не подарок, – согласился Василий. – Но жизнь я тебе не испортил. Если бы как настоящие супруги сосуществовали, ты бы горько плакала от моей тирании. А у тебя была, есть и будет развеселая чехарда: от рентгенолога до травматолога через прочего офтальмолога. Верная ты моя.

* * *

Егор Медведев отца помнил смутно, хотя ему было восемь лет, когда отца расстреляли. Отдельные картинки и почему-то все связанные с полетом, с

перехватившимся дыханием и восторгом. Тятя его подбрасывает к потолку и ловит в большие ловкие, чуть царапающиеся из-за мозолей ладони. Уборка сена, метают зарод – огромную копну, дошли до середины. Отец берет его под мышки, раскачивает и швыряет на пахнущее солнцем сено. Они купаются в реке. Отец приседает, Егорка становится ему на плечи, удерживая равновесие, вцепляется пальцами отцу в волосы. Отец встает – и Егор взмывает, подброшенной лягушкой кувырывается в воздухе и падает в воду, ее рябь от солнечных бликов похожа на текущий металл, который он видел в кузне.

Его отец – враг народа. Мама ему рассказывала, какой он был хороший, и другие родственники шепотом хвалили отца. Но что еще могла говорить мать? Да и вообще бабам верить нельзя. В сибирской деревне мальчишкам рано дается знать: бабы – это одно, а мужики – это другое. Где баба натараторила, там черту делать нечего. Был бы его отец хорошим – не расстреляли.

Двенадцатилетним он сбежал на фронт, чтобы кровью смыть позор отца. Выскочив из поезда на какой-то станции под Брянском во время бомбежки, испуганный, орущий, не слушающий чьей-то хриплой команды: «Залечь! Всем залечь!» – рванул в лес и бежал, бежал, пока не свалился. Два дня бродил по лесу, питался ягодами, вышел неожиданно на остатки полка, вырывающегося из окружения.

Лейтенант Потемкин, когда к нему привели Егорку, исхудалого, грязного, искусанного комарами, распорядился:

- Принять на довольствие, зачислить в воспитанники. Как тебя звать, пацан?
- Егорка.
- Отвечаешь не по уставу. Фамилия, имя, отчество, «товарищ командир полка».
- Егор Степанович Медведев, товарищ командир полка!
- Теперь правильно.

Лейтенант Потемкин был кадровым военным, но... из полкового оркестра. Он играл на баритоне – большой трубе, у которой под раструбом улиточное

переплетение тонких трубочек и клавиши. Музыканты до войны действительно в своих частях имели воспитанников – музыкально одаренных мальчишек.

Две недели они кружили по лесу, заходили в села – за продуктами и хоть какой-то информацией. Кроме «кругом немцы» ничего не слышали. Оставляли раненых. К ним присоединялись бойцы других подразделений, рассеянных, как горох, просыпавшийся из дырявого мешка. Их части были окружены, деморализованы, взяты в плен, единицам удалось бежать.

Обязанностью Егора было таскать баритон Потемкина в фибровом чемодане-чехле грушевидной формы. Оружия не дали, автоматы и винтовки были на вес золота, их требовалось отнять у одиночных фашистских патрулей. Каждого вновь прибывшего солдата Потемкин заставлял представиться по уставу и зачислял на довольствие. Это означало получить хлебный сухарь и немного жидкого супчика.

Своего первого командира – лейтенанта Потемкина – Егор запомнил на всю жизнь не только потому, что тот спас ему жизнь. Нарвались на немецкую колонну, завязался бой. Потемкин придавил Егорку собой и чемоданом с баритоном... И тело лейтенанта, и баритон, увидел Егорка, когда выбрался, были дырявые от пуль, как дуршлаги, только баритон не истекал кровью. Потом командование принял лейтенант Савушкин, худенький и щуплый, ростом чуть выше Егорки, а Потемкин был громадного роста и мясистый.

Савушкин тоже погиб, в своем последнем бою орал:

– Пацана прикройте, мать вашу!

Это он про него, Егорку, которому уже винтовку дали.

К партизанам их вывел сержант Митрохин, которого Егор звал дядя Саша.

Командиров, однополчан погибших было много. Но Потемкин запомнился, потому что музыкант. Много лет человек дул в трубу, в баритон, дурацкое в общем-то занятие. А когда припекло, стал мудрым командиром. То есть можно иметь абы какую профессию, занятие, соответствующее твоим природным качествам и душевным устремлениям, и оставаться могучим мужиком.

Спустя два года, в московском госпитале к Егору пришел корреспондент и попросил рассказать о боевом пути.

Как это можно рассказать? Про Потемкина, Митрохина и дядю Сашу. Про первую страшную зиму в лесу. Про обиду, что не брали в разведку, потому что у него говор не местный. Про то, как сначала фашисты легко их вычисляли – по запаху. Склонился, вражина, обнюхал – костром несет, значит, «партизанен» – к стенке. Потом для разведчиков одежду на деревьях в отдалении развешивали. Рассказать о местных жителях, чьи дома пьяные каратели из огнеметов сжигали. Бабы с воем выскакивали, дети верещали, а их точно не людей, а паразитов огнем поливали. Они же, партизаны-бойцы-воины-защитники, все видели, за околицей как цуцики лежали. Их командир ругался и плакал, ругался страшно и твердил: «Лежать!.. Лежать!» Рассказать про их докторшу – старенькую Анну Гавриловну или про шебутную санитарку Верку. Анна Гавриловна умерла ночью, вечером еще перевязки делала, а наутро – холодная. Верка погибла глупо, в весеннюю грозу на нее сухая береза упала. Береза была в два обхвата. Рассказать про первый взорванный мост или эшелон. Честнее – про невзорвавшийся. Ошибся с зарядами, лежал под насыпью, взрыва все не было и не было, мимо мчался фашистский эшелон – убивать наших солдат, потому что он, Егорка, клеммы перепутал...

– У нас были партизанские будни, – выдавил Егор.

– Это слишком общё, – скривился корреспондент. – Давайте обратимся к вашей биографии. Кто ваш отец?

– Мой отец враг народа, расстрелянный в тридцать седьмом году, – честно ответил Егор.

Корреспондент вскинул брови, закрыл блокнот, похлопал Егора по плечу:

– Выздоровливайте! Как сказал наш вождь, сын за отца не отвечает.

И ушел.

Егор-то как раз считал, что сын за отца отвечает! Что он своей кровью, своей ратной службой смысл отцовский позор.

Жизнь в тылу, в Москве, была пресной, скучной, тошнотворной. Брат Василий смотрел на него как на помеху. Можно подумать, что ему самому Васька нужен! Колченогий инвалид!

Школа. Таблица умножения. Да, помнит он ее! Только почему-то всегда на «7» стопорилось. $7 \cdot 3$ и $7 \cdot 8$ путал. А склонения и спряжения напрочь из головы улетучились. Склонения у существительных, а спряжения у глаголов или наоборот? Мягкий знак в конце шипящих... Да пошли вы! Он три эшелона под откос пустил и два моста взорвал, он...

Единственным обществом, где он чувствовал себя в своей тарелке, была местная шайка подростков – тут и бой с соседскими бандами шпаны, и руководство, и добыча. Это вам не сочинение писать про летнее утро, не в прямой речи кавычки и тире расставлять. Зачем столько премудрости с этими знаками?

Они обнесли киоск, не первый, но засыпались, ребят повязали, он успел смыться. Васька брат его избил – ерунда, мы к боли привыкшие. Но Васька орал, что умерла мама и он, Егор, ее опозорил.

Не знал никто. Он тосковал по маме смертельно. Его скручивало от желания видеть ее улыбку, стоять рядом, чувствовать теплоту ее руки на плече, ее объятие... Это не поддавалось воле, это нельзя было задавить, заглушить. Да и не хотелось, потому что это было единственным благодатным, мёдным, солнечным, радостным, смешным и волнительным до слез. Он плакал по ночам – никто не видел. Он давил прорывающиеся стоны рыданий в партизанской землянке на полу, застеленном сосновыми ветками, в подушку на брошенном на пол матрасе в московской комнате Васи. Его слез никто не видел и не слышал!

Он не испугался тюрьмы, которая грозила после ограбления киоска. Каземат в сравнении с землянкой первой военной зимы – тьфу! Уголовники в сравнении с фашистами – мелочь голопузая. Но опозорить маму? Из-за умножения на «7», твердых и мягких знаков? Он ведь любил учиться, просто разучился любить.

Марьяна, которая забрала Егора из школы и стала заниматься с ним дома, называла его Мальчик Ясам. Он сам пришивал пуговицы, сам стелил постель и убирал, мыл за собой посуду.

– Я сам, – говорил Егорка, – сделаю примеры. Ты отчеркни, откуда и куда. И упражнения в русском, какие номера.

– Нет, голубчик! Сначала я тебе напомню правила. Ты мне их повторишь, вслух, как стихи. Потом под моим присмотром сделаешь несколько контрольных примеров и напишешь предложения. Затем получишь задание по математике и русскому. На закуску, если останешься жив, прочитаешь повесть Гоголя «Вий», ответишь на вопросы и напишешь короткое сочинение о художественных изобразительных средствах. Какие бывают художественные средства?

– Сравнения, метафоры, гиперболы, метонимии, синекдохи...

– Вася! Найдешь у Гоголя одну синекдоху – получишь шоколадку.

– Я не Вася, а Егор.

– Прости! Вас легко спутать. Оба волкодавы или крокодилы, захватывающие знания по-хищнически, как дичь.

Марьяна была мировой девушкой, женщиной, учительницей, наставницей. Брату Ваське с ней повезло, молиться должен был. Может, и молился, когда они на ночь в ее комнату уходили. Марьяна подтрунивала над самостоятельностью Егора, только это было одиночество, а не самостоятельность.

Общительный, всегда окруженный людьми, которые спасали ему жизнь, помогали, защищали, учили или, напротив, обижали, насмехались, доставляли боль, Егор был одинок. Возможно, каждый человек внутренне одинок, и между ним и остальными невидимая броня, прочная, будто толстое стекло. Но не каждый человек принимает свое одиночество как данность, не бьется в стекло, чтобы притянуть к себе друга, подружку, случайного внимательного слушателя или родного брата. Люди, в большинстве, хватаются друг за друга, боятся своего одиночества. Егор научился не бояться. Он не был одинок только с мамой. Он знал, какую выберет себе подружку жизни, жену – которая легко, как воздух через кисею пройдет сквозь стекло и будет с ним в одной колбе. И дело тут не в

откровениях, не в рассекречивании страшных или постыдных тайн. С мамой он секретами не делился. Дело в ощущении – разделенного одиночества.

Егор никогда не расспрашивал брата о родителях. После того случая, когда Вася его выпорол, когда весть о маминой смерти пришла, – ни словом не обмолвились. Васька не хочет говорить, а ему запахло настырничать.

Только через несколько лет, когда поступал в Московский университет, когда его гнилая анкета должна была перевесить или не перевесить золотую школьную медаль, грамоты, характеристику из Московского дворца пионеров, Егор упрекнул брата:

– Ты ловко устроился! Фролов! И твой отец не враг народа, опозоривший нас!

Они сидели за столом у Пелагеи Ивановны, пили чай. Василий застыл, побледнел. Посмотрел на брата с холодным бешенством. Поднял чашку, явно желая запустить ее в физиономию брату. Аккуратно поставил чашку на блюдце.

Встал:

– Наш отец не враг народа! А ты – дурак!

Похромал к дверям, хотя он давно уже не припадал на протез, совершенно незаметный.

В университет Егора приняли, летом он поехал в Ленинград к тете Марфе, которую обожал. Особенно их первое мгновение встречи, когда тетя Марфа захватывала его в объятия и тихо поскуливала от радости. Это были непередаваемо прекрасные материнские объятия. Хотя мама Егора была на голову ниже тети Марфы, у которой детей, племянников и внуков предостаточно. А у мамы Егорка всегда был один. Несмотря на Ваську и Аннушку. Один и любимый.

– Ладный ты, ох, красивый парень, – восхищалась им тетя Марфа и тут же сокрушалась: – Только весноватый. Бороду бы тебе отрастить.

Весноватыми в Сибири называли рябых. Осколки мины, последнее ранение, оставили на теле Егора множество отметин. Лицо в шрамах-рытвинах под одежду не спрячешь.

– Нисколько не стесняюсь, – заверил Егор тетю. – Знаете, как говорят в кругах мужественных, но не шибко благородных, попросту – в блатных? Шрам на роже для мужчин всего дороже.

– Шутишь. В точь как брат твой, Василий. Как отец твой... Степан, – моргнула, точно прогоняя слезы. – Тоже шутник был. Парася мне рассказывала. В грозу летнюю сорвало часть крыши с клуба. В колхозной усадьбе были Степан да еще полтора мужика – Фролов и счетовод, остальные в поле. Степан полез крышу латать, поскользнулся, полетел кубарем вниз – очень неудачно, но хоть не насмерть и хребет не сломал. Лежит, зубы стиснул, подняться не может. Бабы из сурового полотна носилки сделали, перекатили его, за края взялись и понесли в дом. У него, потом выяснилось, четыре ребра сломаны, рука и нога. Это ж боль какая! Несут его, а он говорит, мол, не рассказывайте мужикам про сие удовольствие. Станут с крыш сигать, чтобы жалостливые бабы на ручках их потаскали. Вот порода у вас! Гордецы да шутники. Егорушка, касатик, ты на какой факультет поступил?

– На биологический, хочу заниматься биологией моря.

Тетя Марфа никогда не видела моря и не стремилась увидеть.

– Что тебя влечет в пучину-то? – спросила она племянника.

Егор отвечал, что последние три года ходил в биологический кружок при Дворце пионеров, там был замечательный руководитель, а море – это почти космос, такой же неизведанный, но лежащий у наших ног.

– Мы плохо знаем гигантских обитателей океана, – говорил он, – например китов, и совершенно не изучены микроскопические особи, а они древнейшие, выжившие за десятки тысяч лет, следовательно, несущие какие-то вещества, обеспечивающие биологическим видам почти бессмертие.

– Бессмертие – это хорошо, только если молодым оставаться, а бессмертие дряхлым да старым... Но я в науках не смыслю. Меня другое про твою биологию

моря волнует. Плавать ты умеешь?

- Отлично, разными стилями, - успокоил Егор.

- Не утопнешь?

- Ни в какие штормы.

Их разговор прервался, потому что пришла из школы его сестра Аннушка, потом Настя, Митяй с Илюшей, Степка, Александр Павлович и еще какие-то женщины с детьми. Как понял Егор, тетя Марфа этих женщин и детей везла из эвакуации, и теперь они едва ли не члены семьи.

Только поздним вечером, когда посуда была вымыта, ночующие и гостящие разошлись по постелям, а имеющие собственное жилье отбыли, Егор попросил тетю Марфу:

- Расскажите мне про моего отца. Хотя вы, конечно, устали, в другой раз...

- Разве в усталость, касатик мой Егорушка, вспоминать про дорогое и милое? В усталость - это когда в бесполезность. Простоять за хлебом несколько часов на морозе, как в Блокаду было. Получила - нет усталости. За три человека до тебя хлеб кончился, окошко захлопнулось - такая тяжесть навалилась, кажется, и на четвереньках до дома не доползешь.

Они проговорили всю ночь, несколько раз кипятили чайник.

У Егора точно выросли корни, как у саженца, который считал себя самосеянцем. Шалишь! Корни - ого-го! Отец, который пошел против воли Анфисы Ивановны - матери, той еще кулачихи по фактам, хотя, по восхвалениям тети Марфы, личности выдающейся. Отец, выходец из богатой сибирской семьи, был председателем сельсовета, сражался за красных, мечтал о всеобщем равенстве, братстве и вдохновенном труде. Он создал коммуну, которая потом стала колхозом, гремела на всю страну. Они с мамой в Крым ездили отдыхать! Отец имел несколько орденов, но был костью в горле и щепой в глазу тем, кто социалистический уклад сельского хозяйства не умел организовать. Его оболгали. Колхозники-коммунары за Степана Медведева готовы были за вилы

схватиться – чудом усмирили, пообещали честное разбирательство. Расстреляли его отца, колхоз зачах.

В Москву он вернулся другим человеком. За отца не нужно было на войне расплачиваться. Своим отцом он мог гордиться. Хотя то время не вычеркнешь, и партизанское детство он бы не променял на обычное мальчишеское, безмятежное.

Василий приехал, когда уже начались занятия в университете. Егор пришел домой после лекций. Брат на четвереньках ползал по ковру, изображая лошадь, всадниками на его спине были Вовка и Котька.

– Помнишь, – заговорил Егор, – я тебя про нашего отца спросил?

– Трпру-у! Остановка! Ездокам и коню надо подкрепиться. Где тут сено? – Василий сел на пол, устроил сыновей рядом. – И что? – повернулся он к брату.

– Ты назвал меня дураком.

– Ну, дальше?

– А ты!.. Сволочь!

Егор развернулся и вышел из комнаты.

– Теперь мы черепахи, – скомандовал сыновьям Василий. – Отползаем к краю ковра, он же остров Мадагаскар, где живут самые большие, самые древние черепахи. Плюхаемся на пузо, медленно ползем... Кто последний – черепаха-победитель... Последний, а не первый! Вовка, куда ты попер? Котька, русского языка не понимаешь? – Схватил сыновей за ноги и притянул на старт, на край ковра. – Команды «Вперед!» еще не было.

– Вася! – подала голос Марьяна, сидевшая на диване.

– Я перепутал остров Мадагаскар с островом Маврикием?

- Нет. То есть я не знаю. Но так нельзя! Дурак, сволочь! Это братское общение?

- Не принимай во внимание. Он хотел узнать и когда по-настоящему захотел – узнал. Все нормально. Остальное – психология.

- Ты даже не поздравил брата с поступлением в университет!

- С этим поздравляют? Последним приполз кто? Черепаха-папа! Учитесь, короеды! Можно сесть папе-черепахе на панцирь, и он отбуксирует вас в джунгли, где растет баобаб. Нет, кажется, баобабы растут в саванне, уточните у дяди Егора. Марьяночка! Мой брат прекрасно знает, что я отдам за него жизнь, а я абсолютно уверен, что он за меня любому врагу перегрызет глотку. Остальное...

- Психология?

- Да! Не-е-ет!

В прошлый приезд Василий опрометчиво объяснил сыновьям, что делают короеды, и теперь они зубами впились в «баобаб».

Пелагея Ивановна позвонила Марфе Семеновне и сообщила, неразборчиво шепча в трубку:

- Дома никого, я вам по секрету...

- Квартету? Не слышу, говорите громче!

- Егор привел девушку, познакомил. Студентка, вместе с ним учится. Такая... узкоглазенькая.

- Татарва? – расстроилась Марфа.

- Казашка.

– Час от часу не легче!

Камышин, а вслед за ним и дети нередко потешались над великорусским шовинизмом Марфы. Заочно она настороженно относилась к людям других национальностей. Но стоило ей познакомиться с армянином или узбеком, и если тот вел себя вежливо и порядочно, начинала выказывать ему особое расположение, граничащее с жалостью. Им-де, бедненьким, не повезло родиться русскими.

– В твоей жалости, – говорил Митяй, – есть изрядная доля барства.

– В барах никогда не бывала, а жалость еще никому не навредила.

– Мама! – драматически вскидывал руки Степка. – По Конституции все национальности равны! У нас дружба народов.

– Ни одного человека не видела, кто б Конституцию читал. Дружба – это хорошо и правильно. Надо жить в согласии. Но они, инородцы, нас-то за своих до конца не принимают! Миша-дворник, Муса по-ихнему, своих пятерых дочерей за кого выдал? За татар! Одна девочка, вторая с конца, убежала с русским парнем. Вернули, вынудили за пропащего татарина выйти, потому-де, что порченная. Муж, изверг, ей все зубы выбил! А русский, может быть, пылинки с нее бы сдувал. Или взять Ашота, армянина, мясника на рынке... Да что там говорить! Вот у нас на Морском (Марфа поддерживала отношения с бывшими соседками) из третьего корпуса парень женился на тунгуске... или чукче? Не важно, откуда-то с Севера. Приехала ее родня на свадьбу. Батюшки-светы! Подарки – связки шкурок чернобурой лисы, да песка, да икры ведро. А в туалет не ходят! К унитазу не приучены. Во двор ходят. Пришлось для них за котельной угол досками отгораживать.

Марфа совершенно забыла, как сама, переехав в Омск из деревни, пугалась унитаза, как боялась опуститься на него и Нюраня.

– Ты опасаясь, что жена Егора, ленинская стипендиатка, станет приседать у нас во дворе на детской площадке? – спросил Степан.

Несколько дней назад мама вынудила Степана позвонить Егору. Мол, они по возрасту с Егором близки, всегда дружили, а у нее душа болит. У мамы душа размером со стадион имени Кирова. Что он мог выяснить у брата? Говорят, у тебя невеста появилась? Верно. И как она? Что Егорка мог ответить? Что девушка, кроме всего прочего, дарит ему тепло, которое было только у мамы? «Она ленинская стипендиатка», – сказал Егор.

Ее звали Дарагуль. «Дара» в переводе с казахского значит «особая, индивидуальная», «гуль» – «цветок, красота».

Дарагуль поступила в МГУ, приехала из Казахстана по направлению. Союзным республикам были нужны образованные кадры. Таджики, туркмены, казахи, литовцы... (и далее по списку) сдавали вступительные экзамены не в столичных вузах, а у себя дома. В теории считалось, что высшее образование получат наиболее способные ребята. На практике чаще всего в Москве приземлялись дети номенклатуры. Дарагуль была исключением, одаренным ребенком из дальнего аула, который после учебы в алма-атинском интернате оказался в Москве.

Марфа готовилась к встрече с женой Егорушки, они должны были приехать на зимних каникулах. Готовилась не выказать «шовинизма», на который ей указывали сыновья и муж.

Но когда они приехали, Марфа девушку несколько часов и рассмотреть толком не могла – все пялилась радостно на Егорушку. Что счастье делает с человеком! Он как будто бы все время сдерживал желание запеть – на полную мощь заголосить или, точно пьяный, затянуть слезную жалобную песню. Как он смотрел на жену! Не глазами, даже не поворачиваясь к ней лицом: ушами, затылком, руками – всем телом. Иногда закашливался не к месту – от рвущейся потребности запеть.

Потом Марфа, конечно, девушку разглядела. Худенькая, невысокая, чернявенькая, глазки узенькие, но не совсем уж в щелочку, выражение можно угадать. Выражение было смело-трусливое. И понятно – привезли на смотрины.

– Как тебя зовут? – спросила Марфа, когда они вместе готовили еду на кухне. – Извини, запаматовала. Помню, что в переводе «редкий цветок».

– Дарагуль. Можно – Даша. Меня многие так зовут, так проще.

– Мне проще не требуется. Запомню. Иди ко мне, деточка, – обняла ее Марфа. – Спасибо тебе за Егорушку! Сейчас нагрянут, минутки не найду сказать. Береги его, он мальчик особенный.

– Я знаю. Вы похожи на мою бабушку... Ой, не потому что в возрасте! Моя бабушка вас моложе! У нас рано замуж выдают. Бабушка была такая же теплая. Благодаря ей меня в интернат родители отпустили. Я много болела в детстве, думали, не выживу. Бабушка меня лечила, клала рядом спать, рассказывала мне сказки и еще просила выдать свой маленький секретик, который случился в этот день, или раньше, или в мыслях... Не могу правильно объяснить. Что-то дорогое, радостное или, напротив, тревожное, колющее. Я вам, как бабушке, хочу сказать, что Егор выбросил банку с осколками, которые у него извлекли из тела. Мы шли по набережной Москвы-реки, он вдруг достал из кармана банку с железками, потряс и с размаху запустил в воду. Это был для него какой-то очень важный поступок.

– Та-а-ак! – На пороге стоял Егор, уже принявший в мужской компании пару рюмок. – Обнимаются! Я никому не позволяю! Тетя Марфа, вам можно. Там, между прочим, – потыкал в сторону гостиной, – тарелок не хватает и сидений.

– Дарагуль, касаточка, тарелки в буфете в нижнем ящике. Егор, как будто не знаешь! Две табуретки, на них доску, что за дверью у черного входа.

– Точно, – потянул Егор жену на выход, – в этом гостеприимном доме весьма часто наблюдается смешение сословных атрибутов: приборы серебряные и алюминиевые, тонкий фарфор и общепитовский фаянс, стулья венские, кресла, бархатом обитые, и доска на кухонных табуретках...

– Ишь какой приглядливый! – вдогонку сказала Марфа. – Вот что биология моря с мужиками творит, али другая биология?

Дарагуль поддерживала умные разговоры и оставалась незаметной, когда ее мнением не интересовались. Она легко включилась в домашнюю работу, но не спрашивала угодливо Марфу, чем еще помочь, что еще сделать. Она была

заметна, когда требовалось, и невидима, когда была лишней.

– Такая хорошая, такая славная, – говорила про нее Марфа мужу. – Совсем не русская. Ведь как наши бабы? Либо сидит пень пнем, а рот откроет, дык лучше бы молчала. Либо тараторит, слова не втиснуть. И несет-то все одну скукоту и глупость. А хочет себя хорошей хозяйкой показать – носится как наскипидаренная, бестолково. Дарагуль – иная, деликатная. Есть она – и нет ее. Статуэточка: хочешь – любишься, не хочешь – не замечаешь.

Марфа в этот момент совершала ежевечерний ритуал: сняв уложенные короной косы, расчесывала волосы, заново их заплетала. Камышин лежал на кровати и любовался.

– Главное, что Дарагуль приучена к унитазу, – сказал он. – Не то что чукчи с Морского.

Марфа повернулась к нему и махнула гребнем: будет вам надо мной потешаться! Дети с Камышина пример берут, и все шуткуют над ней. Степка, охламон, еще и кривится хитро. Мол, рассмешить человека с чувством юмора – плевое дело, а увидеть недоумение на лице мамы – особый кайф. За «кайф» он полотенцем по шее получил. Чтоб иноземную брань к матери не применял.

– Да пусть хоть трижды инородка, – говорила Марфа, устраиваясь на постели, – пусть хоть из пучины морской. Главное, что Егорушка расцвел. Что Веркин кактус.

– Кто? – не понял Камышин.

– Верка с Морского. Кактус у нее на подоконнике – колючка колючкой. А зацвел красиво, на загляденье.

У Егора и Дарагуль долго не было детей. Долго – по Марфиным представлениям. Уж университет окончили, работали, а все бездетные. Прямо их не спрашивала, потому что если какая-то проблема со здоровьем, то своим досужим любопытством могла только разбередить рану.

Однако в разговорах с мужем ворчала:

- С Егором по телефону говорила. Диссертации они пишут-рожают! Вместо детей, что ли?

- Так и спросила?

- Не посмела.

- Каждый рождает, что может.

- А если Егорушке осколкам там, - показала Камышину в промежность, - посекло и он теперь неспособный?

- Это у меня там посекло, - ухмыльнулся Александр Павлович, - хоть и не осколками, старостью. А у Егора все в порядке, петух петухом вышагивает, и Дарагуль не выглядит обездоленной мужским тамом. Тебе бы все плодиться, ненасытная!

- Ну да, ну да. Только не зря говорится: стар, да петух, молод, да протух.

Камышину сия народная мудрость очень понравилась.

Егор с женой приехали, когда она была на седьмом месяце. Дарагуль выглядела очень молодо, ей можно было дать тринадцать-четырнадцать лет - девчонка с пузом.

Настя рассказывала, веселясь:

- Мы в Гостином Дворе стояли в очереди за пеленками-распашонками-ползунками. Тетки на Дарагуль косились-косились и потом хором запричитали: кто ж тебя, малолетку, обрюхатил, кто ж над тобой надругался! И пустили нас без очереди к прилавку! Дарагуль, умора, кандидат наук, прекрасно изображала девочку на сносках.

Тот их приезд - последний, когда видели Дарагуль.

Родилась девочка, назвали Марией – Маней. И два с лишним года у них не получалось вырваться в Ленинград. Присылали фото Мани – узкоглазенькой, в мать-казашку, нерусская кровь сразу видна.

А потом Дарагуль умерла. От какого-то зловредно скоротечного рака. В Ленинград про ее болезнь не сообщали. Не едут, обстоятельства, отпуск откладывается.

Василий, конечно, знал. Он с Марьяной поднял на ноги лучших врачей, никто помочь не мог.

Спустя время Марфа пеняла Василию:

– Чего молчал, скрытничали?

– Вы ничего не могли бы сделать. И знаете Егорку, он человек-«ясам». Ему от постороннего вмешательства только сложней. Но в самых тяжелых обстоятельствах он приехал к вам, тетя Марфа, а не ко мне.

Утро. Марфа с мужем и Татьянкой завтракали. Звонок в дверь. Наверное, почтальон. С ним договоренность: газеты в ящик, а когда приходят журналы, отдавать в руки, потому что тырят, а Александр Павлович много периодики выписывает.

Марфа открыла дверь. На пороге Егор. В одной руке чемодан, на другой сидит девочка, обхватив его за шею. Приехали наконец! Да что ж без телеграммы, без предупреждения! Эти ваши сюрпризы! Я бы пирогов напекла с курагой, Дарагуль любимые. Проходите! Ой, это и есть Манечка? Иди ко мне, деточка! Иди к бабушке Марфе! Легонькая как пушинка.

Она увидела, конечно, что Егор отрастил бороду, как ему и рекомендовала, но не заметила, что это не настоящая ухоженная борода, а многодневная запущенная небритость. И Егор темен лицом, и глаза у него провалившиеся в черные ямы. Встречать гостей вышли в прихожую Александр Павлович и Татьяна.

– Дарагуль-то где? – выглядывала из-за плеча прижавшейся к ней девочки Марфа. – Где Дарагуль?

– Ее нет, – ответил Егор. – Умерла. От рака. Три дня назад.

Руки у Марфы вдруг ослабели, потеряли силу. Малышку не уронила, та сползла по Марфиному телу на пол. Марфа вскинула безвольные руки, замахала ими, точно прогоняя слова, сказанные Егором.

Она видела много несправедливых смертей. Справедливых и не бывает. Руки тряслись – то отмахивались, то звали к себе, будто призывая развеять ужас сказанного Егором. Шею стянуло жгутом, выдавливало из глаз слезы. Они были крупные и холодные, как градины...

Камышин подошел и обнял ее за талию, утешая. Он крякал и кашлял, тоже плакал. Он Дарагуль выделял из всех молодых женщин-родственниц: поразительный ум, великолепная память плюс восточная деликатность, изящество без восточного хвастовства и бахвальства. Умерла! Дикая несправедливость!

Молчание прервал Егор:

– Я вам оставлю на время Маню? Надо... надо как-то на работе и вообще... Я пошел? – Он развернулся к двери, остановился. – Куда пошел? Я к вам на три дня. Голова совершенно не варит.

– Бабушка, – подергала Марфу за юбку Маня. – Бабушка, я знаю буквы! Меня мама научила. Только она не успела научить их в слова складывать.

– Падуишь, буквы! – Татьяна, испуганная тягостным напряжением взрослых, отлипла от ноги дедушки, которую обхватывала, как спасительный столб, и шагнула вперед. – Я тоже знаю! Фы! Это буква, а не кода мимо гольшка написикашь!

Девочки были одногодками. Маня говорила удивительно чисто, Татьяна по-детски коверкала звуки. Маня была на полголовы ниже Татьянки и заметно худее.

– Эф, – сказала Маня, косясь на Татьянку. – Буква называется «эф».

– Фы!

– Эф!

– Дедуська! Скажи ей! – требовала от Камышина Татьянка.

– Строго говоря, Маня права – «эф». Но милым барышням есть что обсудить, кроме алфавита.

– У меня есть куквла! – тут же завопила Татьянка. – Дедуська подалил. Она с лесницами, хлопсь-хлопсь, и «мама» пвлает! Падем, – потянула Танюшка Маню за руку, – паказу!

Девочки ускакали. Сначала Татьянка, припрыгивая, понеслась в детскую, за ней, подражая, поскакала Маня.

Марфа усмирила руки, и слезы перестали литься, только носом шмыгала. Егор стоял безучастно, как мумия, которую подняли из гробницы и которой было тошно принять вертикальное положение, смотреть на живой мир.

Камышин отвернулся, чтобы вытереть слезы украдкой, потом дернулся, развернулся и ладонями вытер лицо. Чего стыдиться праведных слез?

Камышин заговорил почему-то строго, в его тоне больше было суровости, чем отеческой доброты. Будто он гнался за виновником горя, за врагом, противником, не поймал и теперь злится.

– Егор! Застыл в дверях, как неродной. Проходи, снимай ботинки. В душ, потом завтракать. Побрейся! Хватит траур на лице носить. Траур не на физиономии, а в сердце. Марфа! стакан водки ему на завтрак! И мне... полстакана... четверть. Потом пусть спать ложится и дрыхнет до морковкиного заговенья. Ну, случилось! – взмахнул руками Камышин, почти в точь как Марфа. – Ну, умерла Дарагуль! Так вышло, так есть! И хватит стенать!

Никто из них не стонал, ни слова вслух не произнес. Но, казалось, дышать невозможно от криков беззвучных.

– Егор?

– Я вас слушаю, Александр Павлович.

– В ванную – мыться-бриться, – повторил Камышин. – Надеть чистое. Завтрак, водка и спать. Приказ понятен?

– Так точно, – со слабой усмешкой ответил Егор и поковылял в ванную.

Конец ознакомительного фрагмента.

Купить: <https://tellnovel.com/ru/natalya-nesterova/zhrebiy-pravednyh-greshnic-nasledniki>

Текст предоставлен ООО «ИТ»

Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию: [Купить](#)